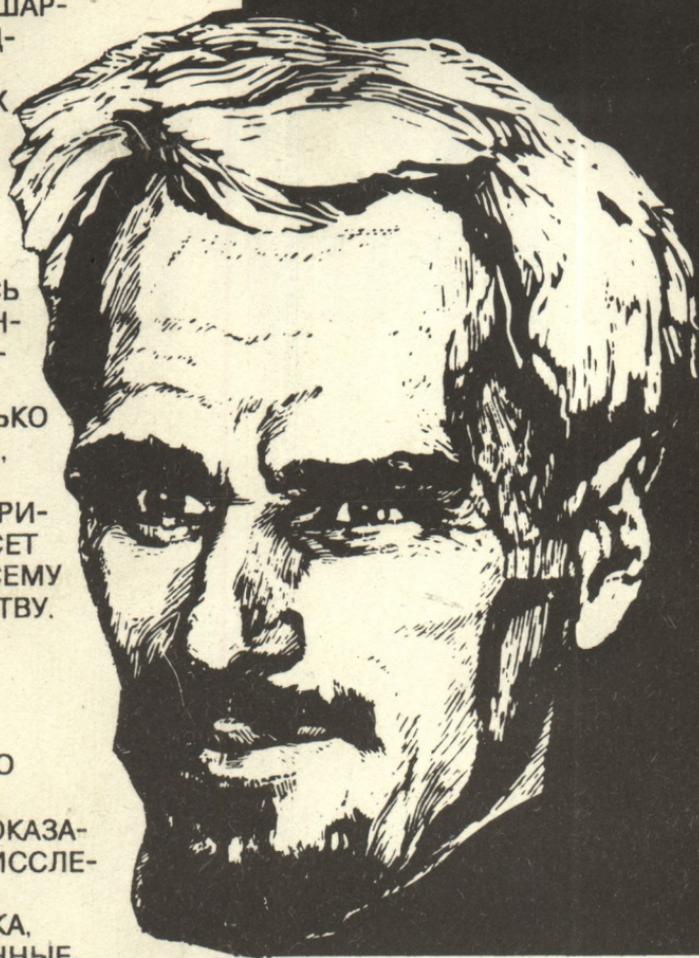


Ю.В. КОНДРАТЮК,  
ОН ЖЕ А.И. ШАР-  
ГЕЙ — ПРЕД-  
СТАВИТЕЛЬ  
НЕИСТОВЫХ  
ИЗОБРЕТА-  
ТЕЛЕЙ,  
КОТОРЫЕ  
ТВОРИЛИ  
СВОЕ ДЕЛО,  
НЕ ЗАБОТЯСЬ  
О СОБСТВЕН-  
НОМ БЛАГО-  
ПОЛУЧИИ,  
ДУМАЯ ТОЛЬКО  
О БУДУЩЕМ,  
КОТОРОЕ,  
КАК ОНИ ВЕРИ-  
ЛИ, ПРИНЕСЕТ  
СЧАСТЬЕ ВСЕМУ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.  
ЕГО ИМЯ  
НАМ  
МАЛО  
ИЗВЕСТНО,  
ПОТОМУ ЧТО  
КОГДА-ТО  
КОМУ-ТО ПОКАЗА-  
ЛОСЬ, ЧТО ИССЛЕ-  
ДОВАНИЯ  
КОНДРАТЮКА,  
НЕ ЗАМЕЧЕННЫЕ  
В СВОЕ ВРЕМЯ, МОГУТ  
ЗАТМИТЬ ИЛИ ХОТЯ БЬ  
УМАЛИТЬ АВТОРИТЕТ  
НАШИХ ПРИЗНАННЫХ  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
ВЕЛИКИХ ТЕОРЕТИКОВ  
И ПРАКТИКОВ  
КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ —  
ТАКИХ, КАК  
К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ,  
С.П. КОРОЛЕВ,  
Ф.А. ЦАНДЕР.



**А.Т. ГАРКУША**

---

# СТРЕЛА ЛЕТЯЩАЯ



**А.Т. ГАРКУША**

# **СТРЕЛА ЛЕТЯЩАЯ**

*Дорогому брату  
23.02.95г.*



**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**

**1993**

ББК 39.6Г  
Г20

**Гаркуша А. Т.**

Г20 Стрела летящая.— М.: Моск. рабочий, 1993.—  
152 с.

Эта книга — художественно-документальная повесть о трудной, полной приключений жизни Ю. В. Кондратюка (Александр Игнатьевич Шаргей) — великого ученого и изобретателя, разработавшего, независимо от К. Э. Циолковского, стройную теорию освоения космоса, идеи которого легли в основу американского проекта полета космического корабля «Аполлон», доставившего человека на поверхность Луны. Многие положения этой теории используются в современной космонавтике.

Имя Ю. В. Кондратюка долгое время было мало известно в нашей стране, поскольку замалчивалось по ряду причин, о которых рассказывается в этой повести.

Рассчитана на широкий круг читателей.

Г  $\frac{1401020000-1}{M 172(03)-93}$  17—93

ББК 39.6Г

ISBN 5—239—01335—7

© А. Т. Гаркуша, 1993

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Шаргей

Заканчивался многострадальный XIX век. Он был кровавым и воистину многострадальным для России, которая вела изнурительные и почти непрерывные войны то с Наполеоном, то с турками, то с Шамилем на Кавказе, то с англо-французами в Крыму, то опять с теми же турками на Балканах за освобождение от османского ига «славянских братушек». Выли деревни, провожая на войну здоровых, крепких парней, выли города, встречая эшелоны с ранеными — безногими и безрукими спасителями Отечества.

А тем временем где-то за горизонтом теплилась заря нового, XX от рождества Христова века. Лучшие умы гадали — каким он будет, этот грядущий? Конечно, более милостивым, гуманным и кротким, чем этот ужасный XIX. Просвещение, которое неуклонно распространяется по всему миру, смягчит нравы, успехи науки и техники создадут изобилие благ земных, и не надо будет голодающим сражаться за каждую корку хлеба и точить ножи на богачей. Демократия окончательно возьмет верх над тиранией, все станут равноправными гражданами единого мирового отечества.

Были, конечно, и пессимисты. Они, как положено им, брюзжали, говорили, что ничего хорошего от будущего века ждать нельзя, потому что человеческая натура инертна и во многом еще пребывает в первобытной дикости, что никакие изменения в материальном мире на нее не действуют, человек по-прежнему остается двуногим животным, которому сколько ни дай — все мало. А значит, будут и войны, будут и грабежи и насилия, может быть, еще в больших масштабах, чем раньше, потому что это животное вооружится самыми передовыми и

изошренными орудиями умерщвления себе подобных.

Какой же выход? Социалисты звали к бесклассовому обществу, где будут царить равенство и братство, блага земные будут делиться поровну и не надо будет за них вцепляться в горло ближнему, ревнители веры призывали обратиться к Богу — только он может дать земле «мир и благоволение». Но кто теперь по-настоящему верит в Бога?

В семье полтавского доктора Акима Никитича Даценко тоже было беспокойно. Но не мировые проблемы волновали доктора и его супругу Екатерину Кирилловну, хотя Аким Никитич за чашкой чая в кругу просвещенных друзей любил порассуждать о хитроумных извивах международной политики, о коварном Альбионе, плетущем свои сети по всему свету, о непомерных германских аппетитах, о Босфоре и Дарданеллах — яблоке раздора между Россией и Турцией. Но сейчас все это отодвинуто на задний план событием скромным на первый взгляд, но для семьи Даценко приобретшим размеры вселенской катастрофы: дочь Екатерины Кирилловны и падчерица Акима Никитича Людмила собралась рожать.

В этом не было как будто ничего необыкновенного и страшного — Людмила Львовна была уже взрослым и самостоятельным человеком — преподавала географию и французский язык в гимназии, состояла в законном браке с Игнатием Бенедиктовичем Шаргеем, студентом Киевского, а потом Петербургского университета. Но существовало два осложняющих дело обстоятельства. Во-первых, Людмила Львовна с некоторых пор была тяжело больна душевно, ее посещали странные видения, ей слышались голоса, выкрикивающие воинские команды, густо пересыпанные русской матерщиной, из-за этого она не спала и целыми ночами сидела на кровати с растрепанными волосами, раскачиваясь, как от ударов. Это были последствия ее ареста в Киеве, когда она участвовала вместе с учащейся молодежью в демонстрации в етровоце в — последователей народоволки Марии Ветровой, покончившей с собой самосожжением в каземате Петропавловской крепости; несколько суток провела Людмила Львовна в жандармских застенках, но этого было достаточно, чтобы виденное и слышанное там

отложилось в ее сознании, жестоко ранило до этого чистый и ясный, ничем не замутненный мозг. А вторых, ее супруг, Игнатий Бенедиктович, похоже, вовсе не был озабочен созданием прочной семьи. Сын состоятельных родителей, он решил посвятить свою жизнь учению — сначала учился в Киеве, где и обвенчался с Людмилой Львовной, потом переехал в Петербург, собирался, кажется, податься и за границу для продолжения образования. Родители щедро снабжали его деньгами — о куске хлеба он не думал, а возможность оказаться отцом семейства была лишь досадным препятствием для достижения заветной мечты — получить университетский диплом.

Таким образом, младенец мог появиться на свет фактически круглым сиротой — без отца и матери и лечь тяжелым грузом на руки родной бабки и неродного деда.

И кем он станет? Не передастся ли ему безумие матери и эгоистическая беспечность отца?

Все это мучило Акима Никитича и его жену, заставляло не спать по ночам, пить успокаивающие капли.

Акушерку решили не звать, Екатерина Кирилловна сама была докой в этом деле, а лишние люди тут ни к чему.

...Поздно ночью из комнаты роженицы донесся тонкий, прерывистый плач ребенка.

Раскрасневшаяся от волнения Екатерина Кирилловна стояла посреди комнаты, держа на руках завернутый в белоснежную салфетку писклявый шевелящийся комочек.

— С первого шлепка заорал! — довольно сказала она. — Будет жить!

Аким Никитич перевернул листок календаря. Было 9 июня 1897 года.

Много лет спустя, когда пришлось заполнять анкету при поступлении на работу, человек, рожденный в этот день, написал: «Родился в 1900 году в гор. Луцке». И указал совсем другое имя, чем то, которое было дано ему первоначально. Он всеми силами старался забыть и время и место своего рождения. Это была тайна, разглашение которой грозило ему смертью. И он молчал до конца дней своих.

Но пока еще было детство, была Полтава — веселая,

зеленая, роскошная, сочетающая славу великой петровской победы над шведами с беспечной негой волоокой украинской красавицы, утомленной от ухаживаний бесчисленных кавалеров. Была медлительная, прохладная река Ворскла, в которую, как в зеркало, смотрела эта красавица, слегка пожевывая и расчесывая длинные косы своих верб.

И мы вернемся в это детство, когда этот человек был еще мальчиком и назывался Сашей, Сашей Шаргеем.

День проходил в обычной ребячьей беготне и возне, а когда наступала ночь, то начиналась волшебная сказка наяву.

Он уже лежал в своей кроватке, уложенный туда заботливыми руками бабушки Кати, но не спал, ожидая, когда это начнется. Вот слышатся легкие шаги, тихо открывается дверь детской, и входит Она — вся в белом, похожая на июльское облако, прозрачно-бледная, только черные глаза горят на бескровном лице да темные блестящие волосы струятся по плечам. «Ты не спишь?» — спрашивает быстрым шепотом. «Нет, не сплю», — шепотом отвечает и он — громко разговаривать нельзя, потому что сразу явятся бабушка или дед и уведут маму. «Тогда я расскажу тебе что-то очень интересное. Только чур, — она прижимает палец к губам, — никому-никому». — «Никому-никому», — замороженно повторяет он. «Они опять приходили ко мне...» — «Лунатики?» — «Ну да! — она с легким смехом качает головой. — Такие забавные. Совсем как человечки, только маленькие с круглыми головками и такими прозрачными-прозрачными розовыми ушками, как у белых кроликов. А глаза у них разноцветные — розовые, зеленые, голубые. Наверное, это зависит от характера каждого. И говорят они тоненькими-тоненькими голосами, словно мышки пищат, но разобрать можно. Они сегодня принесли мне целый букет прекрасных лунных цветов. Я хотела принести их тебе, показать, но букет растаял у меня в руках...» — «Он был ледяной?» — «Да нет. Как тебе сказать? Он был весь из лучей...» — «Как солнечный зайчик?» — «Вот, вот. Как солнечный зайчик. Ты меня понимаешь, умница. И вот они мне рассказали... Только опять поклянись, что никому. Они и с меня взяли страшную клятву... Так вот, они сообщили, что на Луне готовится большая экспедиция на Землю и они скоро прилетят к нам. Только об этом нельзя говорить заранее,

чтобы злые люди не подготовились к их прилету и не перебили лунатиков. Ведь они такие слабые и беззащитные, у них нет никакого оружия. Они хотят породниться с хорошими людьми, чтобы Земля и Луна были общими. Они разучат наши песни и научат нас своим. Мы будем летать в гости друг к другу». — «А на чем?» — «На тех аппаратах, на которых прилетят сами. А может, люди изобретут и свои летательные аппараты». — «Вот было бы здорово! А хорошо там, на Луне? Есть там леса, реки?» — «Знаешь, на самой Луне ничего этого нет. Это голая безжизненная равнина, изрытая огромными ямами кратерами. Жизнь — под поверхностью Луны. Там есть города, села, очень красивые, как говорят лунатики, над ними светит искусственное солнце, цветут сады, оранжереи...» — она замолкает. «Еще расскажи, еще!» — просит он. «Хорошо, только в следующий раз. Я расспрошу получше лунатиков о том, как они живут, и все тебе передам... А теперь я пойду. Что-то очень устала. Спокойной ночи, дорогой», — она целует его в лоб и уходит на цыпочках.

Много ночей продолжалась эта сказка. За это время они с матерью побывали и на Луне, и на Венере, и на Марсе, готовились к экспедиции на безымянную планету из отдаленной галактики, где должны обитать существа, во всем похожие на людей.

Но однажды мать не пришла. Саше сказали, что ей стало очень плохо и ее отправили в больницу. Оттуда она уже не вернулась. О том, что она уже никогда не вернется, он узнал в тот день, когда бабушка, одетая во все черное и с черной вуалью на глазах, обняла его, поцеловала в макушку и прорыдала: «Сиротка-а-а!»

Он не понял и не принял этого слова. От него веяло какой-то безнадежностью, какой-то плесенью. И еще потому его невзлюбил, что с ним было связано первое в его жизни большое горе — потеря самого близкого человека.

Между тем наступил ХХ век. Пришел он под всплески фейерверков, хлопанье пробок шампанского и крики «ура», слитный гул молебнов во здравие народа российского и всей царствующей семьи. Молодой император, взошедший на престол после смерти родителя, обещал продолжить политику своего отца, при котором хотя и были придавлены всяческие свободы, но не было больших войн, за что он и был прозван Миротворцем.

Но на горизонте уже выросло нечто грозное и кровавое. И вскоре выплеснулось — русско-японской войной.

Про японцев вообще тогда мало кто знал. Только уж очень образованные. А прочие только слышали — есть, мол, какое-то племя на Дальнем Востоке, где-то за Китаем, чем занимается — неизвестно, в штанах ходит или без, по деревьям лазает или уже на землю опустилось. И по простоте называли их «макаками» — обезьяны есть такие. А с обезьян что возьмешь.

Но как началась война, которая должна была принести скорую и легкую победу русскому воинству, и как принялись эти самые японцы потрошить отборные российские дивизии — только пух от них полетел. И тогда запели озорные студенты:

Куропаткин-генерал  
Под Шахэ сраженье дал,  
Под Шахэ сраженье дал,  
Тридцать тысяч потерял,  
А в газетах написал,  
Что блестяще отступал...

Порт-Артур, а потом Цусима. Пошли на дно лучшие корабли российского императорского флота. И уже померкла, потускнела последняя вспышка патриотизма, вызванная сообщениями о геройской гибели «Варяга», экипаж которого предпочел гибель позорному плену и сам, открыв кингстоны, потопил на виду всей японской эскадры свой быстроходный крейсер, на рее которого трепыхался Андреевский флаг, а оркестр при этом исполнял «Боже, царя храни».

И песня о «Варяге», возникшая тотчас, исполнялась на фоне звучащего под сурдинку русского национального гимна.

Бьется с неравной силой  
Гордый красавец «Варяг»...—

пел мощный хор, а где-то в отдалении, словно за кулисами, звучало: «Бо-о-оже...»

И квасные патриоты, которые грозились «макак» шапками закидать, слушали это пение с растроганно-влажными глазами. А потом шли «бить жидов, спасти Россию», поскольку от евреев и прочих студентов, как они считали, происходили все беды России.

Но навстречу им поднималась новая волна, грозная

и сокрушительная, расцвеченная алыми флагами. Назревала Революция. Но что она принесет народу? Долгожданное освобождение или горе и смерть, еще большую кабалу?

Об этом с тревогой и надеждой говорили люди, которые собирались иногда за самоваром в доме Акима Никитича Даценко. Говорили сначала тихо, потом начинали спорить, кричать, стучать кулаками по столу. Саша иногда бывал на этих сборищах, пока его не укладывали спать. Он не очень понимал, о чем говорят эти люди и отчего они так волнуются, но ему нравилось наблюдать за выражениями их лиц, за движениями их рук в то время, когда они что-то доказывали друг другу. Особенно ему запомнились два человека — один с длинной, почти до пояса, бородой, похожий тонкими чертами лица на святого угодника, другой с бородой покороче и покудрявей, плотный и круглолицый. Когда они заговаривали, все замолкало и только слушали их. И когда спорили, то обращались преимущественно к ним, как бы прося разрешить спор. С ними Аким Никитич был особенно почтителен.

— Кто они такие? — спросил однажды Саша, когда дед, проводив их последними из гостей, подал им в прихожей их тяжелые шубы.

— Запомни их, Саша, — дрожащим от почтительного волнения голосом сказал дед. — Это лучшие люди нашего Отечества...

— Лучшие? — переспросил Саша. — А разве бывают худшие?

Дед открыл рот, но долго не мог ничего сказать от удивления. Потом взял Сашу за подбородок и поглядел в его черные, как два уголька, глаза:

— А ты, брат, того... соображаешь.

У деда была большая библиотека. Толстые книги в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами стояли в зеркальных шкафах строгими солдатскими рядами — на переднем плане. А на втором теснилась уже не в столь строгом порядке литературная продукция, менее солидная на вид, — тощие разноформатные книжки в мягких обложках. Толстые и увесистые тома — собрания сочинений классиков, энциклопедии, справочники, а тонкие — всякого рода приключенческие книжки, которые

издавались «выпусками», научно-популярная литература. И конечно, очень много книг по медицине. Дед слыл деятелем прогрессивным, поэтому в его библиотеке были книги по всем областям знаний, но он не забывал при этом, что его главное дело — лечить людей.

Саша рано научился читать. Детские книжки с картинками ему скоро надоели, и он тихо-тихо подобрался к дедовым богатствам. Увидел, где дед хранит ключи от своих зеркальных шкафов, и, когда никого не было дома, подтаскивал стремянку к шкафам и открывал их. В нос ему ударял упоительный запах старых книг, от которого слегка кружилась голова.

Он садился на стремянку и принимался за чтение.

Где он только не побывал, с кем только не побеседовал, листая ласково шелестящие страницы книг! Они переносили его то в знойные прерии Южной Америки, то в ледяные просторы Антарктиды, он поднимался вместе с отважными воздухоплавателями над землей и опускался с водолазами в глубины мирового океана, где плавали странные зубастые, сплюсненные с боков рыбы. С особым замиранием сердца он изучал звездные карты в большом астрономическом справочнике, где были обозначены звезды, на которых побывали или мечтали побывать они с матерью. И лик Луны с рябинами кратеров казался ему таким же знакомым, как побитое оспинами лицо дворника Микифора, который подметал каждое утро улицу перед домом. Увидев Сашу, он всякий раз снимал шапку и говорил:

— Доброго ранку, паныч.

— Я не паныч,— говорил Саша.

— Ни, паныч... А колы вырастете, вельким паном станете и тоди старому Микифору на чай дадите.

Саша не понимал — зачем Микифору нужно так много чаю, что он готов клянчить на него деньги, тем более что от дворника несло на целый квартал отнюдь не чаем, но иногда выносил ему грошик, который Микифор прятал в глубокий карман своего плаща и говорил с усмешкой, кланяясь:

— Дякую\*, паныч...

— Я не паныч,— упрямо повторял Саша...

---

\* Благодарю (укр.).

Цвело знойное полтавское лето. По улицам ветер носил целые тучи засохших лепестков акации; барышни и дамы, предохраняя лица от загара, ходили под кружевными зонтиками, а крестьянки, приезжающие из окрестных сел на базар, просто повязывали лица платками, оставляя неприкрытыми только глаза; мальчишки бежали босоногими стаями на Ворсклу купаться. Микифор, закуривая «козью ножку» и глядя на Сашу голубыми, как небо, слезящимися от дыма глазами, спрашивал: — А чего вы, паньч, не гуляете со всеми, не идете на речку? С того и ледащенький такой да бледный.

— Не хочу, — отвечал Саша и возвращался в прохладные комнаты с завешенными от солнца окнами, к своим книгам.

Приближался день его рождения, после которого, осенью, он уже должен был идти в школу — надеть форму, нацепить на спину ранец с книгами и превратиться в одного из тех горбатеньких гномов, которых он видел каждое утро идущими по длинному изволоку к школе. Они напоминали ему рабов — невольников, и он заранее содрогался от мысли, что станет таким же, как они, — серым и безликим. Да и чему его могут научить в школе? Все, что другим приходилось вдавливать в головы, он уже знал. И даже гораздо больше — все это дали ему книги.

К толстым томам он обращался неохотно — их трудно было листать, они оттягивали руки. Его больше привлекали небольшие книжки, особенно те, в которых простым, понятным языком рассказывалось об ученых, о науке. И однажды ему попалась книжка, скромная на вид, но с названием завлекательным — «Живописная астрономия». Автор — Камиль Фламмарин.

Саша хотел ее просто перелистать, но так углубился в чтение, что забыл обо всем. Казалось, что француз Фламмарин написал эту книгу специально для него, для Саши. Там было и про звезды, и про Луну, и про планеты. Но самое главное, что узнал из нее Саша, — Вселенная, оказывается, не ограничивается голубым сводом, который распростерся над Землей, а не имеет вообще ни конца, ни края. Это невозможно было себе представить. Как это — не имеет конца? «Все на свете имеет начало и конец» — так говорила бабушка. Саша даже глаза закрыл, пытаясь представить себе бесконечность. Но ничего, кроме глубокой-глубокой ямы, не

увидел. Однако и у ямы есть же какое-то дно. А Фламарион определял бесконечность Вселенной просто: «Центр Вселенной везде, окружность ее нигде».

За чтением он не заметил, как в комнату вошел Аким Никитич. Остановился, пораженный, увидев внука, примостившегося с книгой на стремянке, сжавшегося в комочек, как летучая мышь.

— Эге,— сказал,— так вот кто мои книжки ворошит! То-то я смотрю — не все на своих местах стоят!

Саша чуть не свалился с лестницы от неожиданности.

— Читай, читай,— успокоил его дед.— Только к столу спустись, так тебе будет удобней. И ключи бери, когда тебе понадобится...

Осенью Саша в школу не пошел. Дед посоветовался со знающими людьми и решил, что внука будут готовить дома к поступлению в гимназию. А в начальных классах он может просто разболтаться из-за того, что ему нечего будет там делать.

Сашу приняли сразу в третий класс гимназии. Он сидел за партой с ребятами, которые были старше его по возрасту, но не очень отличался от них, поскольку был высок ростом и плечист. Но то, что говорили преподаватели на уроках, что с трудом и проклятьями усваивали его товарищи, лишь скользило по его сознанию, почти не задевая его. Все это он уже знал. Знал больше, чем могли сообщить ему чопорные, затянутые в мундиры гимназические педагоги. Во время урока непроницаемо-черные его глаза были устремлены на окна, за которыми ветер ломал, гнул к земле деревья, рвал с них последние осенние листья.

Иногда его поднимали с места. Преподаватель, уязвленный его невниманием, заставлял его повторять то, о чем только что говорилось на уроке. И он повторял, правда, другими словами, и с подробностями, которых не было в рассказе учителя.

— О чем вы только мечтаете, Шаргей? — ядовито спросил его однажды географ — кругленький, потный человек с редкой белесой шевелюрой, петушиным хохолком торчащей на макушке, убежденный, что самый главный предмет именно тот, который он преподает.

— О полетах на Марс,— четко ответил Саша, и этот ответ был воспринят как вопиющая дерзость.

Но Саша и не думал дерзить. Он действительно в это время думал о полете. Только не на Марс, а, по крайней мере, на ближайшую соседку Земли — Луну.

Мысль об этом пришла к нему не сразу. Перебирая книги деда, он наткнулся на одну, которая перевернула все его сознание, заставила внимательней присмотреться к себе и к окружающему его миру. Это был роман немецкого писателя Бернгарда Келлермана «Туннель». Еще раньше, читая жизнеописания великих естествоиспытателей, он нашел, что их объединяет одна общая черта — одержимость, неуклонное стремление к намеченной цели, похожее на полет выпущенной из лука стрелы. Таковы были и Пастер, и Фарадей, и Эдисон. Благодаря своему фанатизму, граничившему порой с безумием, они преодолевали все и всяческие преграды на своем пути. И добивались победы. Но они действовали в основном в одиночку. Поэтому многое, о чем они мечтали, пропадало впустую, не находя поддержки. А сколько других великих проектов никому не известных изобретателей и мыслителей не дали ростков, потому что упали на каменистую почву! Вот если бы объединить усилия всех лучших умов человечества, дать им мощную финансовую поддержку, то можно было бы сделать явью самые дерзновенные мечты — например, пробить шахту к центру Земли, к кипящему слою магмы, чтобы добывать оттуда в нужном количестве драгоценные и другие металлы; или, преодолев притяжение Земли, вырваться к другим планетам, а там к звездам. И, словно услышав эти его мысли, Келлерман написал книгу, рассказывающую, как коллективная воля людей, возглавляемых талантливым инженером Маком Алланом, помогает осуществить грандиозный проект, поначалу казавшийся безумным, — прорыть туннель между Америкой и Европой под дном Атлантического океана.

Ни одну книгу до сих пор Саша не читал с такой жадностью. Он готов был целовать каждую ее строчку, потому что она подтверждала его собственные мысли, породила веру в безграничные возможности человеческого разума и воли. Вообще, когда он читал так называемую научную литературу, которая была в пренебрежении у его сверстников, он все больше убеждался в том, что человеческие возможности не исчерпаны и на сотую часть, что люди могли бы гораздо раньше прийти к своим великим открытиям и сделать неизмеримо

больше, если бы на земле не было войн, взаимно испепеляющей расовой ненависти, угнетения человека человеком. Но ведь настанет когда-нибудь такое время, когда люди поймут, что друг без друга им нельзя жить, что им надо объединиться, чтобы достичь того, о чем они веками мечтали.

Значит, пока не настало такое время, надо накапливать проекты, которые могут быть осуществлены в будущем. Надо прокладывать новые пути в науке, в технике. Пока, может быть, даже в одиночестве, преодолевая препятствия, под смех и издевательства обывателей и невежд.

И он занялся самостоятельно изучением математики, физики, астрономии по тем книгам, которые были в библиотеке деда, поставив перед собой цель — разработать проект строительства сверхглубокой шахты к центру Земли.

На эти занятия уходила ночь, а утром он снова шел в школу с зеленым от недосыпания лицом, вялый. Конечно, школьная наука отскакивала от него, как горох от стенки. Тем не менее учился он прилично, принося домой «пятерки» и «четверки», и это первоначально не давало деду повода беспокоиться за обучение внука. Беспокойство возникло несколько позже.

Оживлялся Саша лишь на уроках математики. Стрянув с себя сонное состояние, он, как лихой всадник, врубался в сложнейшие задачи, которые выкапывал откуда-то математик, решал их со скоростью непостижимой, чаще всего в уме. И Владимир Степанович, преподаватель математики, задавая такую задачу классу, предупреждал его: «Шаргей, пока что помолчите». А когда все становилось в тупик, призывал его на помощь. «Это математик милостью божьей», — говорил он в учительской.

Под откос пошло Сашино ученье, когда заболела бабушка Екатерина Кирилловна. Заболела тяжело, похоже было, что уже больше никогда не встанет. Она и сама чувствовала это. Подзывала к себе Сашу, гладила его по голове своей бледной, как будто стеариновой рукой, смотрела на него добрыми воловьими глазами, говорила: «Как же ты будешь жить без меня, сироти-и-ина?» Он уже знал, что бабушка самый близкий и родной для него человек, есть еще отец где-то в Петербурге, но у него там уже другая семья, и он вряд ли сможет так же опекать

сына, как Екатерина Кирилловна, которая заменила ему умершую мать.

Похоронили бабушку, и Саша, как определил Аким Никитич, «совсем от рук отбился». Стал пропускать уроки в гимназии, а в ответ на замечания лишь передергивал плечами или отвечал грубо, в том смысле, что он — самостоятельный человек и сам отвечает за свое поведение. Часто уходил из дома, возвращался поздно. Где был — неизвестно. Аким Никитич беспокоился — не связался ли с какой дурной компанией, это у молодых бывает. Но оказалось, что Саша просиживал в библиотеке — дедовой библиотеки ему, видите ли, уже мало. По ночам, запершись в своей комнате, что-то писал, чертил.

Аким Никитич понял — с таким внуком ему уже не справиться. И он решил мудро — надо отдать его на попечение человека более молодого и сильного. Таким был Владимир Акимович Даценко, его родной сын и, значит, дядя Александра.

С Владимиром договорились, теперь предстоял непростой разговор с внуком, надо было ему объяснить, что дед от него не отказывается, просто обстоятельства заставляют его перевести Сашу в другую семью. Да в какую там другую, по существу, ту же самую, от одного дома до другого рукой подать, они будут часто навещать друг друга и прочее. Он опасался, что Саша может обидеться, принять это как желание избавиться от сироты и, чего дед опасался больше всего, вовсе сбежит из дома. Но, к его удивлению, Саша выслушал его взволнованную речь совершенно спокойно и принялся собирать свои вещички, среди которых оказалось немало всяких бумаг, чертежей, а основное имущество составляли книги.

В семье дяди Александру было вольготней. Ему отвели маленькую, но отдельную комнату, где он занимался чем хотел. Никто не контролировал каждый его шаг, а ему только это и нужно было. Кроме того, в семье подрастали двоюродные братья, милые и смешные мальчишки, с которыми он любил возиться в свободное от своих занятий время, играл с ними в прятки и лошадки, а со старшим Сашей, своим тезкой, ходил на Ворсклу купаться, удить рыбу.

А упорные, одинокие занятия его между тем продвигались, и он уже мог сказать, что кое-чего достиг. Основное, над чем он трудился тогда, был проект

летательного аппарата, на котором можно было бы преодолеть земное притяжение и достигнуть Луны, а потом и других планет Солнечной системы. Он уже знал, что это можно осуществить с помощью реактивного двигателя, который лишь один сможет сообщить ракете первую космическую скорость, то есть такую, при которой космический аппарат, запускаемый с Земли, не упадет на нее, а станет ее спутником. Эта скорость составляла 7,78 километра в секунду, или, в пересчете на русские меры, что-то около восьми верст. А если после этого аппарату добавить скорость, равную примерно половине первоначальной, он покинет орбиту Земли и устремится в межпланетное пространство, к иным мирам.

Все это было настолько грандиозно, что дух захватывало. И вместе с тем просто. Надо было только построить такой двигатель, такой аппарат.

И ведь для этого не надо чего-либо особенного изобретать. Все уже изобретено или есть в природе. Надо только внимательно присмотреться к окружающему. Шутихи — разноцветные ракеты, которые в изобилии взлетали в небо, когда праздновалось 200-летие Полтавской битвы, и за полетом которых с восторгом следили такие же мальчишки, как он, ведь это же и есть реактивные снаряды! Говорят, они использовались в Китае еще до рождества Христова. А самодвижущийся шар, изобретенный древним греком Героном, а отдача в плечо после выстрела из ружья или откат выстрелившего орудия! Достаточно лишь человеку сконструировать и построить мощный реактивный двигатель, и тогда — прощай Земля, здравствуй космос!

Так он думал в те времена, всецело захваченный идеей, которая другим могла показаться безумной.

Впрочем, всецело ли?

Много лет спустя, когда один профессор, популяризатор науки, попросил его дать свою краткую биографию, Александр Шаргей (он уже в то время носил другую фамилию) напишет:

«Мною были «изобретены»: водяная турбина типа колеса Пельтона взамен мельничных водяных колес, считавшихся мною единственными водяными двигателями, гусеничный автомобиль для езды по мягким и сыпучим грунтам, беспружинные центробежные рессоры, пневматические рессоры, автомобиль для езды по неров-

ной местности, вакуум-насос особой конструкции, барометр, часы с длительным заводом, электрическая машина переменного тока высокой мощности, парортутная турбина и многое другое — вещи, частью технически совершенно непрактичные, частью уже известные, частью и новые, заслуживающие дальнейшей разработки и осуществления».

Не случайно слово «изобретены» поставлено им в кавычки — он с высоты своих лет и опыта с юмором смотрел на изыскания желторотого юнца, но в чем-то этот юнец предвосхищал будущие находки зрелого ученого и изобретателя. Причем делалось все это попутно с конструированием межпланетного летательного аппарата.

Иногда он вытаскивал чертежи, которые не помещались в его комнате, и расстилал их на полу гостиной. И младшие братишки, разинув рты, смотрели на изображение корабля будущего, космического летательного аппарата или «снаряда», как скромно называл его сам изобретатель.

Владимир Акимович добродушно посмеивался и хлопывал будущего Эдисона по плечу — дескать, давай, давай, все же это лучше, чем гонять голубей или бесцельно слоняться по улицам города.

А у него еще хватало времени и на углубленные занятия математикой, физикой и другими науками. В той же автобиографии он так сообщает об этом: «...В математике — упорные исследования по геометрической аксиоматике (преимущественно постулату параллельных), «открытие» основных формул теории конечных разностей, некоторые не развитые, однако, далее обобщения теории конечных разностей и анализа и много менее значительных вещей, почти сплошь являющихся открытием ранее известного. В химии и технике — основные элементарные представления. В физике — упорное стремление опровергнуть второй принцип термодинамики (характерно, что это, кажется, общая черта с К. Э. Циолковским) и даже в философии — попытка построения логических схем, закончившихся вместе с 99/100-ми самого интереса к философии «открытием» тяжело воспринятого принципа детерминизма».

Здесь надо обратить внимание на два момента: юношеское неукротимое стремление ничего не брать на

веру, даже постулат о параллельных Евклида, даже второй принцип термодинамики, в попытках опровергнуть который уже сломали (и ломают до сих пор) головы изобретатели «вечных двигателей», стремление все пройти и проверить самому; и второе — то, что здесь упомянуто имя К. Э. Циолковского, о котором юноша-изобретатель в то время знать не знал, о работах его ничего не слышал. Может, это было и к лучшему, избавило его от разочарования, которое заставило бы его вообще бросить эту работу, зная, что кто-то уже во многом ее проделал; но он шел, ничего не зная об этом, частично уже проторенным путем, находя при этом свои собственные, оригинальные решения, делая открытия без всяких кавычек.

К 16 годам он уже создал, как ему казалось, стройную теорию космических полетов. Все свои заметки, вычисления, выводы он записал в тетрадь, которую берег пуще ока, считая, что она вот-вот пригодится, когда люди начнут строить корабли для полетов к иным мирам. Но это не был еще окончательно оформленный труд, да и публиковать его было рано — иными делами и событиями было занято человечество.

В конце лета 1914 года Россия объявила войну Германии. Опять завывли, запричитали на вокзалах женщины, опять на запад потянулись эшелоны с «пушечным мясом». До космоса ли теперь?

Гимназистов пока еще не призывали, а Шаргей только заканчивал гимназию. Высокий, стройный, широкий в плечах, он привлекал к себе на улице всеобщие взгляды, и на лицах воинствующих стариков читался возмущенный вопрос: «А этот молодец почему еще в тылу?»

Александр на фронт не рвался. У него была другая цель — поступить после окончания гимназии в Петербургский политехнический. К тому времени наступит его призывной возраст, но, может быть, даст бог, и война закончится... Неужели не успеют к тому времени навоеваться? Ведь еще впереди два года.

Но в 1916-м, когда он закончил 2-ю Полтавскую гимназию с серебряной медалью, война была еще далека от завершения. Шли ожесточенные бои в

Галиции, Прибалтике, во Франции под Верденом дымилась настоящая мясорубка, и туда уже был отправлен на подмогу союзникам русский экспедиционный корпус.

Несмотря на это, Александр поехал в Петроград. Поселился в семье своего отца, которого уже не было в живых — он умер в 1910 году, так и не закончив университета. Мачеха — Елена Петровна Кареева, еще не старая и миловидная женщина, приняла его приветливо, как родного сына. У него уже была сестричка — маленькая Нина, которая все время норовила забраться к нему на колени, когда он занимался, готовясь к поступлению в институт. Но Александр понимал, что прожить с ними долго в одной каморке он не сможет, и уже подумывал о том, чтобы снять для себя угол или комнату. Впрочем, до этого дело не дошло.

Поступил он в институт довольно легко. Сыграла тут роль, конечно, не серебряная медаль, а знания, которые порой были гораздо выше, чему у дипломированных инженеров. Но лишь два месяца ходил он на лекции. Повестка о призыве в армию поставила крест на учебе. Его послали учиться в школу прапорщиков.

Единственным утешением было то, что к этому времени он успел закончить работу, которую назвал многозначительно и емко: «Тем, кто будет читать, чтобы строить». В нее вошли и его юношеские заметки из гимназической тетради, но значительно развитые и дополненные. Теперь уж, он считал, это был действительно научный труд, причем такой, на основе которого можно строить космические корабли и летать в просторы Вселенной. 104 страницы, испещренные расчетами, формулами, снабженные чертежами, содержали бесценные сведения, которые надо было пока что беречь, чтобы они не попали во враждебные руки, не были использованы в военных целях, во вред Родине.

Он хранил эти записи как зеницу ока, не зная, что многое открытое им уже известно по работам Циолковского, предвосхищено еще великим народовольцем Кибальчицем.

В казарме школы прапорщиков воздух был пропитан тяжким духом солдатчины (запах мокрых шинелей, сапог и портянок), и по ночам дышать было нечем, не то что думать о полетах к звездам, а он лежал с открытыми глазами, смотрел на грязное окно, в котором бесприютно

плавала желтая луна, и думал о том, что наступит день и он сам, Александр Шаргей, выйдет из космического аппарата и коснется ногой поверхности вечной спутницы Земли. Приземлится... нет, тут надо говорить прилуниться.

И это произойдет, произойдет обязательно. В предисловии к рукописи, которая пока что еще хранилась на квартире Кареевой, он писал: «Прежде всего, чтобы вопрос этого труда не пугал вас и не отклонял от мысли возможности осуществления, все время твердо помните, что с теоретической стороны полет на ракете в мировые пространства ничего удивительного и невероятного собой не представляет».

Это было прямое обращение к будущему читателю, который, прочитав, примется немедленно строить. Он уже видел перед собой этого Читателя и Строителя — широколобого, ясноглазого, с крепкими мозолистыми руками, гораздыми и жадными на труд.

Через месяц-другой он получит звездочку на погоны и выедет на фронт, где продолжалась жестокая сеча, которой не видно было конца. Вернется ли живым оттуда? Кто знает. Но главное, что после него останется рукопись, в которой вся его жизнь. А может, и рукопись исчезнет? Об этом было страшно даже подумать.

За все время ученья в школе прапорщиков (благо, она была там же, в Петрограде) он раза два, получив увольнение, побывал на квартире мачехи. Приносил в кулечке дешевые леденцы — «ландрин» для Ниночки, поспешно и кратко отвечал на вопросы — здоров ли, сыт, как идет служба, и сразу устремлялся к своим записям, усаживался с ними за стол, запускал пальцы в черную шевелюру и читал, перечитывал, придирчиво взвешивая каждое слово, каждую цифру. Иногда что-то поправлял. Нет, он теперь не считал, что все в его работе совершенно. Кое над чем придется еще потрудиться. Но это лишь по возвращении с фронта. А даст ли ему судьба время на новую работу?

Со стенки на него смотрел отец. Александр поднимал от рукописи глаза и встречался со слегка меланхолическим взглядом его черных глаз. У отца была д'артаньяновская борода и широкий, чистый лоб русского интеллигента. Еврейское происхождение ощущалось, может быть, только в этом меланхолическом взгляде —

следствие всех потрясений и мук, перенесенных древним народом.

Он был человек небесталанный, но слишком много интересов и идей захватывали его — стремился объять разом все науки целиком, причем их наивысшие достижения, быть одновременно на острие всех политических схваток современности, и эта разбросанность стремлений стала причиной того, что он так и умер в студенческой куртке.

Отец гордился своей фамилией, считал, что одна лишь принадлежность к ней дает человеку силы, способные своротить гору.

— Ты ведь Шаргей,— говорил он нередко Саше.— Ты вдумайся только в это слово: Шар-гей. А Гея — это богиня земли у древних греков. И получается: Шаргей — это земной шар, где владычествует Гея. Теперь понял, кто ты такой? — он шутливо тряс его за плечи.— Ну, сообрази! Ты — гражданин земного шара, верноподданный богини Геи и должен делать только то, что она велит... Ну ладно, это все аллегии. А если серьезно, сынок, никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяй своей фамилии. Будь всегда Шаргеем — в этом твоя сила!

Как часто потом с болью сердечной он вспоминал эти слова!

«Никогда, ни при каких обстоятельствах», «Будь всегда самим собой»... Впрочем, память подсказывала, что и сам отец не всегда придерживался этих принципов, иногда кривил душой, когда был уверен, что так надо. Еще в раннем детстве Саша гостил у него в Петербурге. И даже молодая мачеха, не говоря уже о посторонних, была уверена, что Игнатий Шаргей его отчим, а не родной отец. Он называл Сашу своим пасынком.

— Я же твой сын,— заикнулся однажды Саша.

— Молчи! — прошипел отец. И, опасливо оглянувшись, добавил: — Так надо. Понимаешь? На-до...

Почему надо — Саша так и не узнал.

А теперь отец-отчим печально смотрел на него из рамки — извинялся ли перед ним или призывал к дальнейшему молчанию?

Впрочем, Елена Петровна и так все знала. Она была необычайно ласкова и предупредительна с Александром, чувствовалось, что она хоть в какой-то степени хочет

заменить ему мать. Когда он садился заниматься, она ходила на цыпочках, утихомиривала Ниночку, ставила время от времени ему на стол то стакан чаю, то чашечку кофе с пирожным или конфетами, когда их еще можно было купить в кондитерских.

Перед отправкой на фронт она связала ему носки из верблюжьей шерсти, которые впоследствии спасли ему ноги от обморожения. Хотя он получил предписание на турецкий фронт, под Карс и Ардаган, зима там выдалась такой лютой, что косила людей похлеще пулеметов.

Дальнейшее всплывало потом в кошмарных снах.

Шли походной колонной на Карс. Недавно отгремела Сарыкамышская битва, в которой туркам, судя по хвастливым репортажам патриотических русских газет, было нанесено «сокрушительное поражение». Впрочем, то же утверждали и турки, с той лишь разницей, что поражение, дескать, потерпели русские.

Впереди, как положено, двигалось боевое охранение. Хотя противник отступал, но засады можно было ожидать отовсюду и ежеминутно. Командовал охранением прапорщик Шаргей. Стужа была лютая, и он закутал лицо башлыком по самые глаза.

— Ваш-бродь,— сказал шедший впереди солдат.— Впереди што-сь чернеет. Никак, турок...

«Ерунда,— хотел сказать Шаргей,— показалось», но, взглядевшись, действительно различил человеческую фигуру с карабином в руках.

— Бросай оружие, руки вверх!— крикнул, вытаскивая непослушными руками револьвер из задубевшей кобуры.

Человек и не пошевелился. «И правда — чего я кричу?— подумал.— Ведь он же ни черта по-русски не понимает».

— Вот чурбан-то,— сказал солдат.— Истинно махамет беспонятный. Дайте-ка я стрелю...

— Не смей!— кричит прапорщик. Солдат, однако, выстрелил, но фигура и не покачнулась.

Подожли ближе, толкнули прикладом. Турок с глухим стуком упал на землю. Лицо черное с белыми от инея усами.

— Часовой, видать,— говорили меж собой солдаты.— Тоже, значит, свою присягу соблюдал.

И повсюду, куда шли — обгоревшие развалины и среди них — трупы, трупы, трупы. От них прыскали во все стороны собаки и кошки, заслышав шаги пехоты. Кошки тоже наладились жрать человечину, но делали это деликатней, чем собаки, не рвали внутренности, а отъедали только губы, носы, уши, и деликатность эта происходила от того, что рты у них маленькие.

А над всем этим бесстрастно голубыми кристалликами льда светили звезды. «Какое нам дело до вас? — как бы говорили они. — Пусть сгинет род человеческий, пусть Земля рассыплется на атомы и снова станет туманностью, а мы будем светить, светить...»

Впервые за все прожитые годы он ощутил неприязнь к звездам.

Газет на фронте не читали. Они приходили слишком поздно и в таком мизерном количестве, что их хватало только на самокрутки. На это они, собственно, только и годились, ибо сообщали о событиях давно прошедших.

Слухи опережали все печатные сообщения. Из уст в уста, из окопа в окоп передавались странные известия с севера. В Петрограде, говорят, революция. Царь отрекся от престола в пользу брата Михаила, не успели принять присягу Михаилу, как новый поворот: сформировано Временное правительство, будет созвано Учредительное собрание, которое и решит, какой быть дальше России.

Народ бурлит, в войсках тоже появились солдатские комитеты. Нижние чины теперь не вытягиваются во фронт перед офицерами, не козыряют, не величают «благородиями» и «превосходительствами», а проходят мимо, насмешливо посвистывая, в расхристанных шинелях. И будто бы новая власть отменила все эти знаки воинского послушания: теперь, дескать, все граждане свободной России, все равны. Но тем не менее эта же самая власть призывает сохранять железную дисциплину и вести войну до победного конца. Западный фронт разваливался. Июльское наступление, предпринятое уже Временным правительством, с треском провалилось. «Кончай войну!» — кричали солдаты и на турецком фронте. А некоторые уже откровенно собирались домой.

Собирался и прапорщик Шаргей.

Он хорошо знал, чем будет заниматься после того, как снимет опостылевшую шинель, только не представлял, где найдет для себя мирное пристанище. Мачеха написала ему, что покинула бурлящий Питер и переехала в Киев — там не так голодно и пули не свищут на улицах. Писала, что дом ее всегда открыт для дорогого Саши и пусть он приезжает в любое время. Рукопись его цела и тоже ждет его... Но сможет ли он жить под одной крышей с этим полуродным ему семейством и, главное, сможет ли заниматься?

Однако события развивались стремительно и раздумывать было некогда. В Петрограде произошла новая революция. Власть взяли большевики, которые на следующий же день после переворота приняли «Декрет о мире». Всем правительствам государств, принимавших участие в войне, было предложено незамедлительно заключить мир без аннексий и контрибуций. Не дожидаясь официальных переговоров и заключения мира, солдаты потянулись по домам. Дезертирство приняло массовый характер.

Держались пока что офицеры, в их числе и прапорщик Шаргей. Но как только пришла весть о том, что большевики подписали в Бресте мирный договор с Германией, покатали на север и офицеры.

Эшелон, в котором ехал Шаргей, медленно продвигался по иссушенному голодом, разоренному войной Кавказу. Поезд был похож на ежа — отовсюду торчали штыки, даже на крышах, где разместились те, кому не хватало места в вагонах. Оружия не бросали — обстановка была беспокойной, орудовали банды националистов, развертывалась гражданская война, появились красные и белые, они ожесточенно били друг друга и стремились завлечь в свой стан демобилизованных, в крайнем случае, отобрать у них оружие.

На станции Тихорецкой в вагон вошли густо увешанные оружием дядьки в бараньих папах с красными ленточками и принялись агитировать всех немедленно вступать в непобедимую армию товарища Сорокина, которая героически сражается с белогвардейско-буржуазной сволочью, немецкими оккупантами, а также с их наймитами — войсками гетмана Скоропадского. Красные воины проливают свою кровь за то, чтобы на земле воцарились мир, братство и вообще безграничная воля

для трудового народа. За окнами в это время кипел митинг. Многие солдаты, потрясая поднятыми над головами винтовками, поддерживали стоявшего на ступеньках вагона оратора, призывавшего вступать в Красную Армию.

Шаргей, лежавший на верхней полке, повернулся лицом к стенке и притворился спящим. Ему не хотелось воевать ни за красных, ни за белых.

В Ростове история повторилась. Тут уж за агитацию принялись офицеры белой армии. Они призывали воевать за единую, неделимую Россию.

— Но я гражданин Украины,— сказал Шаргей, когда к нему подступились.— Если я буду воевать, то только за мою родину.

— Ишь ты, «гражданин»,— прошипел капитан с редкими рыжими усиками.— А может, «товарищ»? Может, тебя отправить к твоим товарищам за водокачку?

За водокачкой хлопали выстрелы — расстреливали самых строптивых.

— Прошу мне не тыкать!— крикнул Шаргей, и капитан, хмыкнув, отстал.

В Полтаву пришел пешком — поездная бригада разбежалась и бросила эшелон посреди степи. По городу грохотали тяжелые немецкие фуры, груженные мешками с зерном, окороками. Немцы еще владычествовали в городе, но, похоже, собирались уходить, поскольку там, в Германии, назревала тоже революция. Гетманские молодчики в широких шароварах, с трезубцами на папах расхаживали по улицам, задевая прохожих, особенно тех, в ком подозревали «кацапов», то есть русских, приставали к молодым женщинам. Они уже чувствовали себя хозяевами в городе. По всем заборам были расклеены приказы о призыве в армию «Украинской державы».

На Шаргея пока мало кто обращал внимание. Это был уже не тот новоиспеченный прапорщик, который в марте 1917 года, по дороге на Кавказский фронт, внезапно появился в Полтаве, представ перед своими родственниками во всем великолепии — высокий, в черной лохматой бурке, с шашкой и револьвером, приведшим в восторг малолетних кузенов. В дороге он постепенно сбросил свой воинственный наряд — что поменял,

что продал, оставил только сапоги — и обзавелся к тому же усами и бородкой.

Но и в таком виде опасно было появляться на улицах, могли загрести в армию. И Александр решил пока отсидеться от гетманских вербовщиков на квартире у своего школьного приятеля Коли Скрыньки. Они дружили с малых лет, часто хаживали друг к другу. Коля был большой книгочел, имел хорошую библиотеку, в которой немало было таких книг, которых нельзя было найти у деда. И прежде всего, книги по технике.

Здесь он просидел месяц, целиком погрузившись в чтение. За чтением он забыл обо всем на свете, о том, что творилось за стенами дома, в котором он нашел укрытие. И однажды, перелистывая старые комплекты журнала «Нива», он наткнулся на заметку, которая его потрясла. Это было сообщение о том, что некий К. Э. Циолковский изобрел реактивный летательный аппарат, с помощью которого можно совершать полеты на Луну и другие планеты Солнечной системы. Подробное описание этого изобретения, опубликовано в «Вестнике воздухоплавания».

Шаргей несколько раз перечитал эту заметку. Он почувствовал себя обворованным. Как же так? То, над чем он трудился столько лет, чем гордился, считая своим и только своим достижением, оказывается, давно известно, опубликовано. Растерянность и горечь его усилились, когда он прочитал, что и за рубежом ведутся работы в области ракетной техники: Годдард, Эсно-Пельтри, Оберт... а ведь ему казалось, что он один, как бог... Падение на землю было страшным.

Придя немного в себя, он попытался отыскать номер «Вестника воздухоплавания» со статьей Циолковского. Порасспрашивал в городской библиотеке, позондировал у знакомых — напрасно...

В июне стало возможно проехать в Киев, и он немедленно отправляется туда. Там его ждали Елена Петровна и Ниночка, переехавшие из Петрограда. Он уже истосковался по семейному теплу, по родственной ласке. Кроме того, у них хранилась его рукопись, которую надо было или решительно переделывать, или уничтожать, судя по тому, что именно было написано у Циолковского и что он невольно повторил в своем труде. И может, в Киеве он отыщет, наконец, этот самый

«Вестник воздухоплавания», при одном упоминании о котором сердце его тоскливо сжималось.

Родные приняли его радостно, хотя жили они в еще более стесненных обстоятельствах, чем в Петрограде. Елена Петровна суежилась, стараясь его угостить лучше, бегала на базар, что-то пытаясь продать, чтобы купить свежие продукты. Но Александр строго запретил ей это делать: «Я буду работать, кормить себя и вас». Но в разоренном городе найти постоянную работу было трудно. Перебивался случайными заработками — чинил электропроводку, репетировал по математике и физике малолетних киевлян. Но главная работа началась вечером, когда он сел за свою рукопись.

Он перечитывал ее и не находил в ней больших недостатков и противоречий. Но это как раз настораживало его: значит, то, чего он достиг, настолько истинно, что могло прийти в голову и другому, причем раньше, чем ему. Значит, он все эти годы изобретал велосипед. Страшно!

Ну что ж, если он повторил что-то исследования в чем-то основном, то, может, в частности он достиг каких-то оригинальных решений? Нужно, во всяком случае, все еще и еще раз проверить, подкрепить выводы математическими выкладками.

Над всем этим он и работал. Разделил рукопись на главы, снабдив их лаконичными заголовками и пояснительными схемами, переписал ее аккуратно черными чернилами.

Получилось 144 страницы — уже настоящий труд. Была бы под боком типография, можно было бы нести туда рукопись.

Но типографии не было, не было поблизости даже человека, который мог бы заинтересованно и со знанием дела прочитать эту работу, дать ей оценку.

Это было сделано гораздо позже.

Отмечалось, что в этой ранней работе получили дальнейшее развитие экономические способы вылета «снаряда» (так называлась автором ракета) с Земли, вопросы стабилизации его полета с помощью гироскопов, управления «снарядом». Автор внес предложения по многоцелевому использованию солнечного тепла, сконцентрированного с помощью разворачиваемых в космосе легких зеркал (как для нужд межпланетного корабля, так и для земной утилизации). Высказана мысль о при-

менении зеркал «для беспроводного телеграфа», то есть автор предвосхищал идею устройства антенн направленного приема и излучения. В работе получили дальнейшее развитие вопросы конструкции снаряда и его двигателя. Автор предложил использовать шлюз для сообщения с открытым космосом и рекомендовал «выходить из камеры снаряда... в специальных костюмах наподобие водолазных, имея при себе запасы воздуха»\*.

Читая такое, невольно приходишь к мысли, что тут дается описание современного космического корабля: солнечные батареи, переходные отсеки, скафандры космонавтов.

А ведь все это родилось в уме одного-единственного человека, который сидел по ночам при свете коптилки в опустошенном войной Киеве, прислушиваясь к тяжелым шагам патрулей под окном; не за мной ли идут?

За ним все-таки пришли.

— Прапорщик Шаргей? — спросил поручик, сопровождаемый двумя солдатами. — Вас приглашает к себе комендант города.

И — со штыками по бокам, как под свечками, — повели в комендатуру.

Пожилой, страдающий одышкой подполковник кричал на него:

— Где ваша офицерская честь? В то время, как лучшие люди России отдают свою кровь в борьбе с большевистской заразой, вы отсиживаетесь в тылу и занимаетесь бог знает чем. Как вам не стыдно, Шаргей? Немедленно отправляйтесь в цейхгауз, получайте обмундирование. С этого дня вы становитесь в ряды славной Добровольческой армии генерала Деникина. В противном случае...

Шаргей знал, что будет «в противном случае». Поэтому четко ответил «есть» и повернулся налево — кругом. Армейская наука еще не была им забыта.

Получил предписание — сопровождать эшелон с тяжелооболоченными и ранеными в одесский госпиталь.

Зеленый классный вагон, промерзший насквозь на зимнем сквозном ветру, мотало из стороны в сторону

---

\* Воробьев Б. Н., Тростников В. Н. О неопубликованной работе Ю. В. Кондратюка «Тем, кто будет читать, чтобы строить» // В сб.: Из истории ракетной техники. М., 1964, С. 222.

и тащило сквозь пещерную тьму в неизвестность, к черту на рога. В вагоне — четверо. Покачиваясь в такт движению, играли при свете оплывающей в железном фонаре свечи в «очко». Начальник эшелона — брюхастый капитан с вислыми седеющими усами следил за тем, чтобы его партнеры не спали и вовремя ставили на кон. Он выигрывал и каждый раз, когда его противник объявлял перебор, гулко хохотал:

— Не надо было жадничать, га-га-га!

Капитан банковал, и ему чаще других выпадало очко. Впрочем, партнеры у него были квелые, несерьезные. Фельдшер — рыхлый, беспрестанно потеющий человек с лысиной, гладкой, как блюдо, играл рассеянно и часто вздрагивал, прислушиваясь к чему-то; медицинский халат, надетый поверх шинели, был грязен и вонял карболкой. Играл он лишь потому, что так хотел капитан, его непосредственный начальник. Другой партнер — чернявый, худущий, как жердь, прапорщик, сидевший напротив капитана, ничего в игре не соображал — набирал карту, не заглядывая в нее, а потом сразу бросал, обнаружив перебор, откровенно зевал, показывая, что хочет лишь одного — спать. Но этого как раз и не мог позволить капитан своим подчиненным, для того и затеял игру на всю ночь. Дорога была тревожная — можно было ожидать нападения партизан или махновцев. А четвертым был пухлогубый мальчишка-гимназист, дальний родственник прапорщика, приставший в Полтаве к эшелону — уж очень захотелось ему попасть на фронт, видно, надоело учиться. Этот играл старательно, восторженно заглядывая в рот капитану, охотно смеясь каждой его шутке.

Денег ни у кого не было, поэтому на кон клали бумажки, на которых обозначалась сумма будущего долга: «сто рублей», «двести», «тысяча». Капитан, выигрывая, греб к себе эти записки, приговаривая:

— Эге, это ж я приеду в Одессу миллионщиком. А вас, голубчики, без штанов оставлю, га-га-га!

В товарных вагонах тем временем метались на мокрой соломе, стонали, умирали раненые. Был в составе особый вагон — для тифозных. На каждой остановке из вагонов вытаскивали трупы. Руководил выгрузкой фельдшер, на время оставлявший игру. Вернувшись в свой вагон, показывал на пальцах, сколько покойников.

— А в тифозный не заглядывал? — брезгливо спрашивал капитан.

— Нет, упаси боже!

— То-то! Довезем до места и сдадим, пусть сами там разбираются, кто жив, кто покойник... Ну, бери карту, поехали!

Гимназист неожиданно заснул, словно в воду нырнул. На пухлом, тронутом цыплячьим пухом подбородке появилась слюна. Капитан попробовал его растормошить.

— Не трогайте его, — сказал прапорщик. — Все равно не проснется, хоть из пушек пали, я его знаю.

— Да вы кто такой, чтобы мне указы... — начал капитан, но осекся под взглядом прожигающих насквозь глаз.

Ну и взгляд у этого прапорщика, прямо-таки дьявольский! И фамилия странная — не русская и не украинская — Шаргей, на кличку похожа. Мобилизовали этого Шаргея в Киеве, где он, вернувшись с Кавказского фронта, отсиживался у своих родственников и не собирался ни за кого воевать. Когда за ним пришли из комендатуры, он сидел и что-то писал в тетрадку. Командовавший нарядом поручик потом говорил, что в этой тетрадке и слов человеческих почти не было — одна цифирь да какие-то закорючки. Не шпион ли? Может, это шифр какой-нибудь. Шаргей объяснил, что он научной работой, видишь ли, занимается и эта работа, когда закончится, осчастливит все человечество. Бредни эти особо слушать не стали, а благодетеля человеческого — за шкуру да в комендатуру. Когда прикомандировали его к эшелону, начальнику наказали: «Глаз с этого стрекулиста не спускать. В случае чего...» Капитан прекрасно знал, что надо делать в случае чего...

— Хватит, уже надоело! — прапорщик бросил карты.

Фельдшер устало зевнул, вытер платком запотевшую лысину.

— Игровчи-и-и-шки, — презрительно протянул капитан. — Вы ж со мной за всю жизнь не расквитаетесь.

Неожиданно сгреб в кучу все записки и, приоткрыв окно, швырнул их на черный ветер.

— Лети... — и добавил в рифму матерщину.

Прапорщик Шаргей закрыл глаза, словно заснул.

Но он не спал — в мозгу вертелась неотвязная мысль.

Если бы ее смог прочесть капитан, он бы немедленно схватился за револьвер.

«Бежать, бежать... — телеграфно стучало в мозгу прапорщика. — Бежать сейчас — в Одессе будет поздно. А как же Дима? — это он о мальчике. — Ну, Дима молод, с него ничего не возьмут. Да и не выдаст он никогда...»

Слегка приоткрыв глаза, он посмотрел на мальчика. Дима спал, и на лице его играла улыбка — видно, снился ему настоящий, сверкающий вороненой сталью наган, который ему дадут в Одессе.

Поезд все мчался, расталкивая густую темень. Фельдшер тоже задремал, голова у него моталась, как у покойника. У капитана слипались глаза — вот-вот заснет. Но он все же увидел, как прапорщик поднялся и пошел к двери.

— Куда?! — словно выстрелил ему в спину капитан.

— Душно, — не оборачиваясь, сказал прапорщик. — Накурили очень. Пойду проветрюсь в тамбуре.

В вагоне действительно хоть топор вешай. Курили капитан и фельдшер — мальчишка не в счет, а прапорщик вообще был некурящим, говорит, что его от табачного дыма мутит, слабак. Ну и пусть глотнет воздуха, авось ветром его не сдует. Капитан закрывает глаза. Только на секунду, как ему кажется. Но когда снова открывает их и смотрит на свои карманные часы, оказывается, что прошло минут десять. Прапорщик все еще не вернулся с площадки — дверь на нее приоткрыта, оттуда остро тянет холодом. А поезд стоит на каком-то неведомом разъезде. Капитан приподнимается, чтобы закрыть дверь, и видит, что площадка пуста. «Ушел, ах ты...» Рванув кобуру, выскакивает на ступеньки. Вокруг, насколько глаз хватает, расстилается белая пелена. Метель прошла, над головой заговорщически перемигиваются звезды. Так и есть, ушел мерзавец. Даже следов на снегу не осталось. В отчаянии капитан стреляет в поле наугад, облегчает душу руганью. Он не боится, что спросят строго за беглого — можно сказать, что отстал от поезда, заразился тифом — мало ли что, досадно только, что провел этот хлюпик его, старого служаку.

Шаргей слышит за спиной отдаленный выстрел и ускоряет шаг. Снег поскрипывает под ногами, и он старается шагать полегче, как будто этот звук может

выдать его, направить за ним погоню. Нет, он уже ушел достаточно далеко. Эшелон виднеется червячком на фоне светлеющего неба. Скоро утро. Надо уйти как можно дальше, покуда окончательно не рассветет... До него донесся жалобный свисток — поезд тронулся. Ну и слава богу. Теперь вперед, вперед!

В Киеве сейчас появляться нельзя — это он хорошо понимал. Его там немедленно схватят, сообщение о его бегстве наверняка туда дошло. Начнут мордовать не только его, но близких ему людей, мачеху и сестру. Нет, надо искать пристанище в другом месте.

Он шел, ночуя в заброшенных хатах, стогах сена, перебиваясь случайными заработками, тем, что ему подавали в селах сердобольные женщины. Оборвался, почернел, оброс густой щетиной и совсем стал не похож на того прапорщика, что бежал метельной ночью из санитарного эшелона.

В таком виде он и добрался до городка Смела, где жила давняя приятельница его матери. Женщина испуганно отшатнулась, увидев на пороге дома высокого черного человека в грязной оборванной шинели.

— Это я, я...— говорил он.— Не пугайтесь. Это я, Саша Шаргей.

— Саша? Господи, да не может быть. Заходи, заходи скорей, не стой на пороге. Соседи у нас любопытные... Да откуда же ты, какими судьбами?

Отмывшись и переодевшись (воинские лохмотья немедленно пошли в печку), он поведал свою одиссею.

— Да-а-а,— задумчиво протянул хозяин дома, пришедший к тому времени со службы. Снял пенсне, крепко потер переносицу.— Нелегко придется вам, Саша. Белые на вас точат зубы за дезертирство, да и красным вам не стоит попадать в руки — многие ведь видели вас в офицерской форме. Сейчас Киев как раз заняла Красная Армия. Но от этого вам, голуба, не легче. Там теперь самая горячая пора — вылавливают переодетых беляков. И естественно, не вникая в особые тонкости,— к стенке. Так что вам пока что надо перебыть здесь... Ну что ж, придумаем что-нибудь.

Этот благодушный румяный человек с седой эспаньолькой был врачом железнодорожной больницы, у него

лечилось немало путейских начальников. И через несколько дней он сообщил:

— Есть место смазчика и сцепщика вагонов на станции Бобринская. Готовы взять без всяких документов. Назовете просто мою фамилию, скажете, что доктор прислал, и вас оформят. Обмундирование дадут, место в казарме — то что надо. Пока что, а там видно будет. Ну?

Доктор весело толкнул его в бок.

— Спасибо,— сказал Александр.

На этой станции он проработал год. Никто на первых порах не интересовался его биографией, не заставлял заполнять анкету. Весь перемазанный мазутом с головы до ног, он был просто Сашкой-смазчиком. Лазал под вагоны со своей масленкой и молотком на длинной ручке, постукивал по стальным блестящим ободам колес, заливал в дымящиеся буксы масло.

Но Советская власть крепла, белых уже прогнали в Крым, повсюду стали устанавливаться твердые советские порядки. Появились кадровики и анкеты.

— А, собственно, как твоя фамилия? — спросил Сашку-смазчика вновь назначенный начальник.

Узнав, что у него нет документов, распорядился:

— Заполни анкету...

Александр немедленно уволился.

Он пришел в Смелу и задал новую нелегкую задачу доктору.

— Я пойду в Киев,— сказал.

— Какой там Киев! — доктор разволновался. — Елена Петровна с дочкой там сами с хлеба на квас перебиваются. Да и кто там вас возьмет на работу, тем более без документов? И чего вы туда рветесь? Побудьте пока здесь, в глубинке. Может, в Виску вас устроить?

В Малой Виске работал хороший знакомый доктор — он заведовал национализированной паровой мельницей и маслобойней. К нему и направился Александр. Документы ему заменила записка доктора.

Иван Андреевич Лашинский — «красный директор» в кожаном потертом картузе — принял его, но предупредил:

— Ненадолго. Чекисты кругом рыскают. Так что

давай поскорей доставай документы или придется уходить.

Шаргей чувствовал себя, как волк, обложенный со всех сторон красными флажками. До каких пор это будет продолжаться, он не знал. Не раз приходила мысль — пойти к властям и сдать: мол, я такой-сякой, судите меня. Вероятно, посадят, но потом он, по крайней мере, сможет заняться делом, которому решил посвятить свою жизнь.

Жена доктора Радзевича передавала: Елена Петровна и Ниночка по-прежнему живут в Киеве, но очень нуждаются. Узнав, что Лашинский посылает время от времени продукты своей дочери, живущей в Киеве, он тоже шлет маме и сестренке с оказией несколько посылок. В ответ получает записку: «Родной наш, спасибо. Рукопись твоя цела, постараюсь тебе ее доставить». А внизу — маленьким почерком: «Твою беду тоже попытаемся разрешить».

Видно, Елене Петровне рассказали, в каком положении он оказался. Но что может сделать слабая, без связей, женщина?

Он уже перешел работать с мельницы на сахарный завод, когда получил, наконец, дорогую посылку: приехали из Киева дочери Лашинского Александра и Ольга и привезли с собой тщательно запечатанный пакет от Елены Петровны. В этом пакете была его рукопись «Тем, кто будет читать, чтобы строить» и метрика на имя некоего Юрия Васильевича Кондратюка, родившегося в 1900 году в городе Луцке.

Александр Шаргей все понял: отныне ему предстояло жить под этим именем, забыть, как его называли при рождении, придумать себе новую биографию, новых родителей. Это было нелегко, но другого выхода он не видел. Ему нужно было во что бы то ни стало сохранить жизнь и свободу, чтобы закончить свой труд. Тогда он уже сможет открыть свое настоящее имя. А пока — молчание, молчание...

На словах Елена Петровна велела передать: пусть он не беспокоится, документы настоящие. Передали их по своей доброй воле родные молодого киевлянина Юры Кондратюка, внезапно умершего. Юноша этот при жизни ничем себя не запятнал, так что можно жить под его именем спокойно.

— Ну что ж, Кондратюк так Кондратюк, — задумчи-

во сказал Александр, вертя в руках потрепанную бумажку.

Но думал он при этом не о том, как будет жить под чужим именем, а о своей работе, к которой может наконец-то возвратиться...

Настала новая эра его жизни.

Забудем и мы пока что его настоящее имя, отчество и фамилию и будем называть его так, как он звал себя до конца своей жизни: Юрием Васильевичем Кондратьюком.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Черный сахар

Еще в детстве он выработал у себя способность отключаться от действительности, уходить в себя, в свои мысли. Тогда между ним и окружающими возникала прозрачная, но достаточно плотная стена. Его спрашивали о чем-нибудь — он не слышал, его дергали за рукав, повторяли вопрос — он только съеживался и уходил в сторону, что-то бормоча себе под нос. При этом глаза его, как говорили многие, становились «сумасшедшими», неподвижными. Говорили, что это от наследственности — мать умерла в психиатрической лечебнице. Просто внутренний мир его был настолько насыщен, что это не давало ему возможности жить одновременно и равноправно сразу в двух средах — внешней и внутренней. И он опускался в свои мысли, как рыба на дно, чтобы отсидеться там в одиночестве среди водорослей. При этом терялось его сцепление с внешними обстоятельствами, он говорил и действовал невпопад, чем вызывал недоумение, а то и досаду окружающих. Но со временем он научился и в таком погруженном в себя состоянии действовать внешне разумно и логично. Это очень пригодилось ему сейчас, когда он стал жить двойной жизнью.

Внешне он ничем не отличался от окружавших его рабочих Вискинского сахарного завода. Был черен, худ, ходил в латаной-перелатаной робе и опорах на босу

ногу, был в меру весел и общителен, разве что водки не пил, сигарки в рот не брал и семечки не любил лузгать — занятие, заменявшее многим чтение и приятную, содержательную беседу.

Образованностью своей не козырял, да и козырять-то было ни к чему: то, что он знал, ни при какой погоде не могло быть понято окружающими. Должность занимал самую скромную — работал в котельной даже не кочегаром, а помощником кочегара. Непосредственным начальником его и наставником был отставной черноморский матрос Феодосий Сухомлин, человек простых и строгих нравов. У него было заветное правило: надо идти туда, куда идет большинство людей, не сворачивая ни вправо, ни влево, не придумывая для себя какой-то отдельной, своей, судьбы.

Попыхивая трубкой, он внушал Юрию:

— Чего тебе рыпаться по свету? Все равно лучше Виски места не найдешь. От я уйду на пенцию, займешь мое место, станешь кочегаром, больше получать будешь. Женишься, дом свой построишь. А там и начальником каким станешь — голова-то у тебя работает, я знаю, только голосок бы тебе надо укрепить, чтобы погромче кричать, а то команды твоей не будет слышно...

Феодосий Семенович рисовал ему самое светлое будущее, он послушно кивал головой, а в душе его тем временем происходили процессы, чем-то похожие на те, которые превращают грязную липкую свеклу в непорочно чистый сахарный песок.

В детстве, особенно когда он жил у бабки и деда, ему часто доводилось пить чай с сахаром. Сахар, поколотый на мелкие кусочки, голубой грудой лежал в стеклянной сахарнице, и можно было брать его целой горстью, сколько угодно, засунуть несколько кусков в карман, про запас. Он был легкий и сладок, тот сахар детства. Теперь, когда ему пришлось самому его варить, он постиг всю его тяжесть и горечь.

Грязными горами высились на заводском дворе свекла, которую свозили сюда на скрипучих подводах седоусые дядьки в соломенных брылях и бараньих шапках, смотря по времени года. Он каждое утро проходил мимо этих гор, и не верилось, что эта грязь может превратиться в белый, как ангельские крылья, порошок. Свеклу мыли бабы с красными, словно с них была содрана кожа, руками, нарезали тонкими ломтика-

ми, отстаивали, выжимали из свеклы сок, который потом варили в огромных котлах, превращая в сироп. Возле котлов, от которых шибало адским жаром, ему приходилось стоять весь день. Шатало, пот заливал лицо, перед глазами огненные черти прыгали, и он боялся только одного — свалиться в бушующее пламя топки. Он ясно представлял себе, как из пламени кочергой будут выгребать черные обгоревшие кости, и его передергивало от ужаса и отвращения. На тот продукт, который предшествует сахару и называется у т ф е л е м, он смотреть не мог, предпочитал пить чай с солью, сухарями, яблоком — чем угодно, только не с сахаром. От одного вида желтоватого сиропа его начинало мутить. Но сахарный песок, чистейший и безгрешный, он любил пересыпать из ладони в ладонь, любуясь, как он переливается кристалликами, не переставая удивляться тому чуду, благодаря которому грязь и несовершенство окружающего мира превращаются в такую роскошь. Любоваться любовался, но в рот не брал.

Но это лишь до поры до времени.

— Э, плохо дело, парень, — сказал ему однажды Феодосий Семенович, увидев его после смены — зеленого, едва стоящего на ногах, с красными воспаленными глазами, — так ты скоро у нас концы отдашь.

Квадратный, коротконогий, в полосатой тельняшке, обтягивающей волосатую грудь, Феодосий на своей шкуре познал, что такое жар котлов боевых кораблей, он служил в Севастополе, бросал в 1917 году за борт офицеров, не желавших признавать Октябрьскую революцию, топил со слезами на глазах в 1918 году Черноморский флот в Цемесской бухте Новороссийска, ему было досконально известно, что надо человеку, когда его покидают физические силы. Он заставлял Юрия пить подсоленную теплую воду, а когда тот однажды все же потерял сознание, разжал ему зубы и влил в рот большую кружку сахарного сиропа. Когда Юрий пришел в себя, у него было ощущение, что ему в пищевод воткнули кол. Мерзкая сладость обволакивала рот, переполненный вязкой слюной. Но в голове, странное дело, посветлело, руки и ноги обрели легкость.

— Что вы мне влили? — простонал он и сплюнул.

— А ничего, ничего, это пользительно. — Семеныч спокойно попыхивал трубкой. — Счас ты у нас летать начнешь. Дал тебе сиропчика попить. Самое первое

средство: как силы покидают, выпей его — и хоть в атаку...

— Г-гадость, — скривился Юрий и опять сплюнул.

Но постепенно привык к «лекарству» старого моряка, оно помогло ему устоять на ногах в лихое время.

— Смотрю я на тебя, Юрка, — говорил Семеныч, — и удивляюсь: чего ты ледащий такой? Руки-ноги как щепки. Ведь в возрасте уже мужик. Сколько тебе?

— Двадцать два.

— Гм... Самый сок. К бабам должен ярость иметь. А ты ходишь, как шкилет, будто тебя только из петли вынули. Ни направо, ни налево не глядишь. Вечером, вместо того чтобы на гулянку идти, тетрадки свои мусолишь, в книжку глядишь. Что там, в этих твоих тетрадках?

— Так, ничего. Заметки кое-какие!

— Заметки... Ну валяй, замечай. Только вот что я тебе скажу: человек в твои годы о женитьбе должен думать, о семье. А для семьи силу надо иметь. Так что ты побольше сала ешь и сироп пей почаще. Он, понимаешь, не только рукам и ногам силу дает, но и этому... — он постучал себя пальцем по виску, — помогает...

Феодосий Семенович догадывался, что этот парень не родился кочегаром и не так прост, как на первый взгляд кажется, что голова его забита вовсе не тем, что имеет отношение к его нынешней работе и соответствует его молодому возрасту. И все же думал — пройдет все это, перекипит и вернется парень к обычной человеческой жизни, оставит свои мечты. Надо только привязать его к одному месту, убедить, что только здесь он может найти свое счастье.

Если б он смог каким-то чудом разглядеть, какие картины проносятся в голове его помощника, когда он внушает ему здравые житейские истины, он бы ужаснулся и навеки отказался от своего намерения его приручить.

Там одетые в сверкающие одежды и шлемы люди садились в диковинные, похожие на торпеды корабли и, оставляя за собой огненные хвосты, мчались к голубым звездам, застывшим, как капельки пота, на необъятном челе Вселенной. Они ступали на поверхность других планет и плыли, раскинув руки, в черных холодных

просторах. Эти люди, не верящие ни в бога, ни в черта, сами были богами.

Увидев это, старый кочегар, наверное, поверил бы в то, что говорили о его помощнике окружающие: мол, этот парень не в себе, тронутый, его к котлам близко подпускать нельзя. Может, сбежал из «желтого дома».

А пока Феодосий Семенович от таких разговоров отмахивался. «Да он умней вас всех», — говорил.

Что-то увиделось кочегару в этом парне необычное, притягивающее внимание. Даже странноватый взгляд его угольно-черных глаз, которые порой застывали, и чувствовалось, что в эти минуты он далеко отсюда. Потом, узнав, что Юрий и з о б р е т а е т, Семеныч понял причину его рассеянности и сразу же оправдал его: «Человек же думает!» А особенно понравились ему руки парня: твердые, цепкие, умеющие держать инструмент и обращаться с металлом. Когда Юрий поступал на сахарный, его не хотели брать: уж слишком был изможденный — дунет ветер, и свалится, а на этом заводе и не всякий здоровый выдерживал. И с анкетой у него что-то было не совсем в порядке: написал, что родился в 1900 году, а на вид выглядел старше, при беседе сказал, что родина его Луцк, и сразу поправился — нет, Полтава. Его уже хотели выпихнуть на все четыре стороны, но Сухомлин, случайно оказавшийся при этом разговоре, сказал «беру» и тем поставил точку.

По воскресеньям кочегар приглашал своего помощника к себе в гости, чтобы, сидя запросто за столом, поближе узнать человека, понять его и наладить с ним душевное общение. Юрий от приглашений не отказывался — времена были не такие, чтобы пренебрегать хорошей едой, однако хмельного не употреблял и не курил, что вызывало у Семеныча уважительное удивление, поскольку он за всю свою жизнь не мог освободиться ни от той, ни от другой привычки, и если узнавал, что кто-то не пьет и не курит, то сразу определял, что это человек либо монах, либо очень больной. Юрий не был похож ни на того, ни на другого. К тому же Семеныч открыл, что в этом вроде бы тщедушном теле таится сила немалая. Как-то, сидя за столом, Юрий, задумавшись о чем-то, связал узлом железную вилку. И тут же, заметив удивленные взгляды хозяев, очень смутился и немедленно привел вилку в прежний вид, так что и следа не осталось. Ел умеренно, без жадности,

аккуратно разрезал мясо ножом на мелкие кусочки, тщательно пережевывал, не открывая при этом рта и не чавкая. «Из благородных», — заключил Семеныч, но не стал допрашивать гостя насчет его происхождения, понимая, что этот вопрос может оказаться неудобным, что могло оттолкнуть от него Юрия. Однажды Юрий сам сказал, что мать у него была учительницей, а отец студентом. «Как это студентом? — удивился Семеныч. — Так и остался им?» — «Так и остался», — печально подтвердил Юрий и добавил, что умерли родители совсем молодыми. Опять замкнулся, и Семеныч не стал выпытывать у него подробности. Его краткий ответ тем не менее несколько успокоил строгого матроса, у которого одно время закралось подозрение: не из белячков ли Юрий, не из дворян? По своему опыту он знал, что студенты всегда были революционными, бунтовали против царя вместе с рабочими, солдатами и матросами — выходит, парень не мог быть буржуйским перевертышем.

Любое слово молодого помощника оказывалось исполненным особого значения, и Семеныч бережно ловил эти слова — из них, как из камешков, складывался портрет его нового знакомого. Как-то Юрий сказал, что не пьет потому, что хочет сохранить свою голову чистой. Из этого кочегар сделал вывод, что его молодому другу для чего-то надо, чтобы его голова всегда была чистой, то есть ясной. А для чего — выяснилось несколько позже: оказывается, Кондратюк постоянно чего-то изобретал, придумывал на пользу людям. Этот странный и вроде бы не очень приспособленный к жизни парень вскоре доказал, что он действительно здорово соображает в технике: по его предложению в котельной ввели механическую очистку топок от золы, стали продувать воздухом дымоходные трубы, чтобы освободить их от сажи.

— Голова! — заговорили о помощнике кочегара даже те, кто считал его ненормальным и советовал не подпускать близко к котлам.

А Семеныч был на седьмом небе от счастья.

Правда, парня у него вскоре забрали — перевели на должность машиниста, потом механика. Но старик-кочегар гордился успехами своего питомца больше, чем своими, считая не без основания, что это он «открыл»

его. И вдруг случилось такое, что Семеныч едва не переменял о нем свое высокое мнение: Юрию предложили инженерную должность, а он отказался. Отказался решительно, наотрез. «У меня своя работа», — только и сказал.

— Он что — малахольный? — воскликнул кочегар, когда узнал об этом.

Какая там еще работа? Люди, привыкшие горбатить по двенадцать часов, не выходя из душных, раскаленных цехов, не могли понять, как можно отказаться от «чистой» конторской работы, от того, чтобы похаживать себе в белом кителе по цехам и отдавать распоряжения.

— Псих да и только! — говорили они, постукивая себя пальцами по лбу.

— Да изобретает он, изобретает! — убеждал окружающих Сухомлин.

По правде сказать, Феодосий Семенович и сам толком не знал, что же именно изобретает его воспитанник. Лишь однажды на вопрос об этом Юрий покрутил пальцем в воздухе, показывая этим, что изобретает нечто такое, что летает. Аэропланы были в ту пору уже не в новинку — через станцию однажды провезли на платформе «фарман», принадлежавший врангелевцам и сбитый красными летчиками над Крымом, многие из местечка бегали на него смотреть.

Семеныч верил, что штука, изобретаемая Юрием, тоже непременно полетит, хотя и не скоро.

— Ты что-нибудь для земли бы придумал, — советовал он своему другу.

И Юрий придумывал. По заводу ходило немало историй о его сметке и изобретательности. Особенно одна.

У моториста вышел из строя движок — чихал, перхал, окутывался вонючим дымом, а работать не хотел. Моторист бился над ним несколько часов, потом сел, опустил измазанные тавотом руки и сказал: «Нехай он луснет», то есть пусть он лопнет, а за него я больше не возьмусь. Шел мимо Кондратюк. Остановился, послушал проклятия моториста, потом занялся движком, позабыв об обеденном перерыве. Через некоторое время моторист, продолжавший ругаться, был прерван оглушительным треском очнувшегося движка. Несказанно обрадованный, он тут же развязал узелок, принесенный ему женой, и стал угощать механика домашними лепешками

и сваренными вкрутую яйцами. Юрий охотно принял угощение, но, пережевывая лепешку, спросил: «А где твоя жена берет муку?» Моторист ответил: «Да сама мелет. У нас дома мельница есть ручная». — «То-то я смотрю — помол грубый, на зубах лепешка хрустит. Надо мельницу вашу отрегулировать». И пошел к мотористу домой, отладил мельницу, и стала она давать после того отличную муку.

Многие из его придумок уже работали на заводе. Иногда Юрий получал за них премии. Ему бы купить на эти деньги что из одежды, ботинки хотя бы — старые развалились так, что подошвы пришлось подвязывать веревками. А Кондратюк накопил книг, оставшиеся деньги куда-то посылал по почте, а сам продолжал ходить в прежних обносках.

Семеныч терпел это, терпел, а потом решил, что пора такое безобразие кончать. Он пошел в завком и настоял, чтобы Юрию не выдавали деньгами очередную премию, а купили ему что-нибудь из одежды и вручили на собрании. И Юрию преподнесли под звуки духового оркестра, игравшего «туш», одеяние пожарного — брезентовую куртку и штаны, вещи неизносимые, но мало-изящные.

В августе 1925 года Кондратюк пришел в контору и подал заявление на увольнение. Как его ни уговаривали — квартиру обещали, повысить зарплату сулили, — Юрий был непреклонен.

— Уезжаю, — сказал.

— Но почему, почему? — допытывались.

— Обстоятельства так сложились, — туманно объяснил он.

Для Феодосия Семеновича увольнение Юрия было громом среди ясного неба.

Услышав об этом, пробурчал сердито: «Ну и ска-тертью...», яростно засопел трубкой и, неожиданно для себя, заплакал, прикрыл глаза рукавом, чтобы никто не увидел постыдных слез.

Может быть, он и не уехал бы так внезапно из этого гостеприимного местечка, от хороших людей, с которыми сроднился за четыре года, которые он провел здесь, если бы не два события.

Одно из них произошло в его в т о р о й, невидимой

постороннему взгляду жизни: он завершил работу, которой дал название «О межпланетных путешествиях». В ней он оформил то, о чем ему мечталось и грезилось еще мальчишкой, полтавским гимназистом. В ней он уже твердой, уверенной рукой написал, что полет на другие планеты возможен даже в настоящее время, при современном уровне техники. И что это потребовало бы, начиная с предварительных экспериментов и кончая полетом на Луну и Марс, меньшего количества материальных средств, чем сооружение одного дредноута.

А по стране тем временем шагал голод, тысячи бездомных мальчишек и девчонок ночевали на чердаках, в подвалах, асфальтовых котлах, мертво тыкались в небо недымящие трубы заводов. Если бы кому-нибудь в это время попалась его рукопись и он прочел бы эти строки, он бы счел ее записками безумца.

Но он был уверен в том, что писал, уверен, что открывает людям дорогу к звездам.

И как раз в это время в его руки попала статья Циолковского, которую он безуспешно искал много лет. Прочитав ее, Кондратюк сначала вознамерился бросить свою рукопись в огонь. Все, над чем он корпел дни и ночи, оказывается, давным-давно открыто. Еле удержался от этого и потом, как оказалось, был прав.

Немного успокоившись и придя в себя, он снова перечитал рукопись, сравнил ее со статьей и с огромным облегчением обнаружил существенную разницу между трудом Циолковского и своим. Собственно, результаты были те же — и он и калужанин приходили к одинаковым формулам, но шли к ним разными путями. Циолковский в своих расчетах брал за основу *р а б о т у*, а он — *с к о р о с т ь*. Это делало его расчеты более простыми. Но в его работе были и принципиально новые положения.

По Циолковскому, космическая ракета должна была стартовать после длительного разгона по поверхности земли, для чего требовалось построить гигантскую эстакаду; разгон этот должен быть достаточно сильным, чтобы вывести многотонную громадину в космос, потому что ракета была нераздельной, состояла из одной ступени. Кондратюк предлагал старт многоступенчатой ракеты прямо с Земли, что потребует больших стартовых масс, но зато будет конструктивно более простым решением.

И много было другого, о чем Циолковский не упоминал в своей статье — может быть, он просто не занимался этими вопросами, стремясь решить главную проблему — доказать возможность вылета за пределы земной атмосферы. Прежде всего — каким должен быть ракетный двигатель? На каком топливе должен работать, как охлаждаться? Откуда брать дополнительную энергию для доразгона, перемены курса корабля, когда основные топливные ресурсы будут исчерпаны? Кондратюк давал в своей работе принципиальную схему такого двигателя, предлагал шахматное расположение форсунок горючего и окислителя, предусматривал охлаждение двигателя с помощью компонентов самого топлива. Он вводил понятие пертурбационного маневра — доразгона ракеты силой притяжения встречных небесных тел, что имело особое значение при перемене курса. Опустевшие топливные баки предлагалось сжигать и энергию сжигания использовать для дополнительного разгона.

Он, как человек, внезапно рассыпавший драгоценности, которые только что держал в руках, сейчас их собирал по крупинке, по камешку, заново радуясь своим находкам. И одновременно радовался тому, что нашелся ведь такой же, как он, искатель, который шел совершенно другим путем и пришел к тем же, что и он, выводам. Значит, то, что он нашел, истинно! Это была, пожалуй, самая большая радость, которая перевесила все его огорчения и заставила снова вернуться к своей работе.

Он написал небольшое предисловие, в котором безоговорочно признал приоритет Циолковского «в разрешении многих основных вопросов». И одновременно с некоторой долей горечи сообщал, что до сих пор «так и не получил возможности ознакомиться не только с иностранной литературой по данному вопросу, но даже со второй частью статьи инженера (так он его называл) Циолковского, помещенной в журнале за 1912 год».

Несмотря на это, он считал, что в каких-то разделах его труд идет дальше тех выводов, которые были сделаны до него, или, во всяком случае, уточняет их и детализирует. Поэтому решил, не теряя времени, послать свою работу в Москву, в Главнауку — было в то время такое учреждение, руководившее работой академий, научных обществ,

исследовательских институтов, научных библиотек. В этом многоголовом, как гидра, заведении должны были решить — полезен ли его труд, годится ли для печати.

Ответа пришлось ждать долго. Кондратюк уже потерял надежду когда-нибудь его получить, как вдруг пришел ответ в плотном засургученном конверте, ответ, который заставил его подпрыгнуть чуть не до потолка от радости. Сообщалось, что рукопись получена, принята, решено ее издать, а редактирование поручить В. П. Ветчинкину, известному специалисту по летательным аппаратам.

А после этого снова — длительное, ничем не объяснимое молчание. Кондратюк попытался выяснить адрес Ветчинкина, чтобы написать ему, спросить — не требуют ли какие-нибудь уточнения от автора. Безрезультатно. На его запросы Главнаука не отвечала, будто это учреждение внезапно и в полном составе провалилось под землю.

Постепенно созрело решение — ехать самому в Москву и все выяснить на месте. Но для этого надо было уволиться с завода — был самый разгар сахароварения, и длительного отпуска ему бы никто не дал.

Может быть, он и не уехал бы так скоро и не расстался бы навсегда с Виской, но подтолкнуло его второе событие, происшедшее уже в первой, внешней, его жизни. Собственно, даже не событие, а случай.

По вечерам он нередко ходил на станцию, чтобы прогуляться, встретиться со знакомыми, услышать последние новости. Надо сказать, что станция была для жителей местечка, особенно для молодежи, чем-то вроде нынешнего парка культуры или открытого клуба, где можно было и встретиться с приятелями, и сходить в буфет, если деньги есть, и поглазеть на проходящие мимо поезда, на пассажиров, узнать у проезжающих кое-какие новости, о которых не пишут в газетах. А душевными летними вечерами тут собирались, кажется, все жители, приходили многочисленными семьями, слышался смех и девичий визг.

В один из вечеров и случилось это.

Юрий стоял на платформе, когда подошел киевский поезд. Паровоз, тяжело дыша, как астматик, плюясь паром, подтащил к перрону длинную вереницу вагонов.

И сразу — с площадок, буферов и даже с крыш — посыпались на платформу люди. Они бежали к базарчику, хватали все, что лежало на дощатом столе, — яблоки, груши, тыквы, старое желтое сало. Бросали деньги, не считая. Там, на севере, было еще голодно. Люди текли на юг, к солнцу, надеясь тут погреться и поест вволю.

Бежали к поезду и ели, ели на ходу. Юрий с острой жалостью смотрел на них. Эпоха «военного коммунизма» окончена, продразверстка, которая под метлу сметала все продукты из амбаров и погребов крестьянина, уже четыре года как заменена продналогом, а голодуха еще дает о себе знать. До каких же пор? Когда наступит то блаженное время, когда от каждого будет требоваться по его способностям и каждому даваться по его труду?

Размышления его прервал возглас:

— Саша! Сашко! Шаргей!

Кричал кто-то за его спиной. Он вздрогнул, как от выстрела, но не обернулся. Надо держаться до последнего, показывать, что это к нему не относится.

Он снова услышал свою фамилию, теперь совсем близко. Медленно-медленно обернулся, сделал удивленное лицо.

Навстречу ему из толпы двигались глаза — знакомые, впрочем, одни они и были ему знакомы, все остальное — худое, обтянутое серой кожей лицо с острыми скулами, синие костлявые руки, прижимающие к груди горстку полугнилых яблок-падалиц, тощая фигура, облаченная в мятую кавалерийскую шинель с красными «разговорами» — принадлежало незнакомому человеку.

— Простите, вы ко мне обращаетесь? — спросил он. — Но вы, очевидно, ошиблись. Я не Шаргей. И потом я вас не знаю...

— Ой, Саша, да чего ты темнишь? Это же я, я...

Он назвал свое имя, фамилию, и только теперь Юрий узнал своего гимназического товарища, голубятника, к которому однажды ходил на день рождения и ел удивительно вкусные блины с медом.

— Саша, милый друг, как я рад, что тебя встретил! Обнял бы, да, видишь, с харчами. Неужели не узнаешь? Да, видно, здорово я изменился — ранен был, легкое мне пробило врангелевским осколком. Ездил в Киев, хотел там подзаработать, да ничего не заработал, кроме

бумажек, которые мало чего стоят. Сейчас опять в Полтаву... Ну а ты-то как? Говорят, у деникинцев был... А как нынешние власти на это смотрят? Выглядишь ты, брат, хорошо. Постой, постой, куда же ты?!

Юрий нырнул в толпу, смешался с ней. А вслед ему неслось его имя, которого он теперь боялся пуще огня.

Он понял — надо срочно уезжать. Подальше. Где его никто не знает...

И было еще одно обстоятельство, заставившее его принять решение об отъезде. Работая над третьим по счету вариантом своей рукописи, он явственно ощутил недостаток своего образования. Надо было учиться. Но где? Не в Малой же Виске! Надо было уехать в крупный город — в Москву, Петроград или Киев. Поступить в институт или, на худой конец, на рабфак. Но тут была загвоздка — в эти учебные заведения принимали тогда по классовому признаку — тех, у кого было рабоче-крестьянское происхождение. А какое происхождение у него? Да и биографии собственной не было. Он с завистью слышал, что кого-то посылали учиться за рубеж — в Германию, Америку, но это лишь тех, кто имел безукоризненное, с точки зрения советских властей, происхождение и влиятельных родственников.

В начале лета 1922 года он решился на отчаянный поступок — на свой страх и риск пробраться за кордон, в Германию. Там, в городе Кобурге, жили дальние родственники его бабушки Екатерины Кирилловны. Можно на первый случай поселиться у них, подготовиться к поступлению в институт и снять с себя, наконец, чужое имя, стать снова тем, кем он был, — Александром Шаргеем!

Как это бывало с ним нередко, задуманное он сразу принялся претворять в дело. Насушил сухарей, перемолол их на машинке, чтобы удобно было нести, наготовил самодельных мясных консервов. И пошел пешком к границе. На заводе в это время был как раз летний перерыв в работе, и мало кто заметил его отсутствие в Виске. Феодосию Семеновичу он сказал, что поедет в Киев — проведать родственников.

Его задержали на польской границе. После допросов и расспросов в тюрьму сажать не стали — сжалились, видно, над его худобой и неприкаянностью, признали психически ненормальным и отправили обратно в Виску, куда и он прибыл в начале осени.

— Ну как там отдохнулось у родственников?— спросил Семеныч и опешил — до того изможденным и несчастным выглядел его молодой друг...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Странный квартирант

— Ваш-ши документы!

Он просыпается. Свет фонаря бьет в лицо. Чей-то голос повторяет:

— Ваши документы!

Опять проверка. Повсюду ищут скрывающихся контриков, спекулянтов, уголовников. Приподнявшись на вагонной полке, он вынимает из-за пазухи пачку бумаг, удостоверяющих, что он Кондратюк Юрий Васильевич... Знали бы эти строгие проверяльщики, что эти бумаги, на которых серьезные фиолетовые и черные печати с гербами, размашистые начальнические подписи, — сплошная липа! Он даже не представляет, что будет с ним, когда это выяснится. Впрочем, все закончится одним — поставят к стенке, относительно этого можно не сомневаться.

Строгий командир в кожаной фуражке со звездой ест глазами документы, потом — его самого.

— Та-ак,— протягивает зловеще,— значит, на Кавказ едем?

— Там написано,— Кондратюк опускает глаза, стараясь уйти от этого едкого взгляда.— По направлению ростовской конторы Союзхлеб. На элеваторе буду работать, механиком.

— Да оно в бумаге мало ли что пишется. Сами откуда родом?

— Из Луцка. Это на Украине.

— Чего вас несет в такую даль? Сидели бы в своем Луцке, там тоже, видать, работы по завязку... Ну, езжайте, товарищ. Держите ваши документы...

А сколько еще предстоит таких проверок, когда с замиранием сердца ожидаешь — вот тебе скажут: «Ну-ка пройдемте»?

Карась, попавший на крючок, еще живет, еще трепыхается, но через секунду-другую он будет вытасчен на воздух — и тогда гибель неминуема.

В первые годы жизни по чужим документам он чувствовал себя таким вот карасем. Потом это чувство притупилось, но где-то в глубине сознания теплилось неостывшим угольком.

Он ехал из Москвы на Северный Кавказ, в станицу Крыловскую. Там его ждала работа, в общем, ему знакомая еще по Малой Виске. Но как его встретит Кубань, что его ждет на новом месте — он мог только гадать.

— Кубань, дорогой Юрий Васильевич! Ах, какой край! — восторженно говорил совслуж из Союзхлеба, оформлявший ему направление. — Кругом сады, яблоки и груши сами в рот просятся...

Он почмокал румяными губами, словно смакуя эти прелести, и продолжал:

— А земля там такая — воткнешь оглоблю...

— Вырастет тарантас, — закончил Кондратюк. — Хорошо, я согласен...

А что ему оставалось делать? В Москве ему удалось лишь мимолетно встретиться с Владимиром Петровичем Ветчинкиным — он собирался в это время в Крым, на соревнования планеристов. Владимир Петрович был страстным поклонником этого вида спорта и не пропускал ни одного крупного состязания. Сказал только, что передал свой отзыв в Главнауку.

А в Главнауке Кондратюку ничего определенного о судьбе его рукописи не могли сказать.

— Кажется, поступил еще один отзыв на вашу работу... Не совсем положительный. Но вам все-таки надо дождаться возвращения Ветчинкина...

Дождаться он не мог. Деньги, привезенные из Висок, закончились, ночевать было негде — разве что на вокзале, но там в любой момент могла захватить милиция, пойдут расспросы, проверки, этого он боялся пуще всего. Возвращаться обратно невозможно — как он посмотрит товарищам в лицо, ведь он говорил им, что в Москве его ждет важная работа! Да и денег на обратную дорогу нет. Остается одно — устраиваться куда-нибудь, получить аванс под будущую зарплату.

Бродя по городу, он увидел на заборе свежее объявление о том, что акционерное общество Союзхлеб набирает специалистов — техников, механиков, знако-

мых с оборудованием зерноскладов и элеваторов для работы в провинции. Принятым обеспечивались командировочные для проезда к месту работы и подъемные. Он вспомнил, что когда-то работал на мельнице, и решил попытать счастья.

В конторе Союзхлеб его приняли приветливо, направили в свое ростовское отделение, а там ему предложили место механика элеватора станицы Крыловская, что на Кубани.

Совслуж в серой спецовке говорил ему, посверкивая в улыбке золотыми коронками:

— Элеватор, конечно, не мельница, но ничего — освоитесь в ходе работы... А Кубань — это такой край...

И тогда последовала восторженная тирада о Кубани...

Варя, или, как ее называли в семье, Варюшка, возвращалась в этот день из школы в особо хорошем настроении. А отчего ему быть плохим? Ей шестнадцать лет, скоро семнадцать, еще несколько месяцев, и будет закончена школа, а там... О будущем своем Варюшка не задумывалась. Будет ли учиться дальше или останется в станице, выйдет замуж за хорошего человека, как ей прочила мать, будут у нее детки — один пригожей другого, и все будет гарно.

Радовало ее то, что сегодня учитель математики похвалил ее за сообразительность, когда она нашла решение задачи, над которой бился весь класс, и то, что подруга, проведя рукой по ее волнистой черной косе, сказала с восхищенной завистью: «Какая она у тебя...» И то, что мальчишка, который ей втайне нравился, во время спора повернулся к ней: «Ведь правда, Варя?..» И день был сегодня какой-то особенный — светлый, солнечный, ласковый, как будто на дворе не поздняя осень, а конец лета. Предчувствие у нее было такое, что сегодня в ее жизни случится что-то очень радостное. Впрочем, она по молодости своей от каждого дня ожидала подарка.

Придя домой, она увидела в гостевой комнате (постаничному ее называли «залом») незнакомого молодого мужчину. Он сидел за столом, накрытым бахромчатой скатертью, и разговаривал с матерью Полиной Федоровной. Незнакомец показался ей цыганом — до того он был черен: и лицо, и голова, и усы черные, словно горел

в огне и не сгорел до конца. Когда вошла Варюшка, он встал и склонил перед ней голову. Ей стало смешно — никто еще так не здоровался с ней. Она сказала «здравствуйте» и тут же, отвернувшись, фыркнула в ладонь.

— Наш новый квартирант, — сказала мать. — Юрием Васильевичем зовут.

— Очень приятно... А я Варя, — произнесла Варюшка и снова прыснула.

Ей стало снова смешно от того, что этот человек опять склонил перед ней голову и даже пристукнул каблуками своих стоптанных сапог. Одежда на нем была самая простецкая — брезентовая куртка и такие же штаны, а держался он церемонно, как аристократ. Живых аристократов Варюшка, правда, никогда не встречала, видела только на книжных картинках, где они были изображены все в кружевных воротничках и панталонах, перевязанных у колен ленточками.

Глядя на нее, улыбнулся слегка и постоялец — его темные глаза, мрачновато светящиеся из-под насупленных бровей, слегка потеплели.

Потом, когда они сидели вместе за самоваром, постоялец рассказал, что родом он с Украины, по профессии механик, недавно приехал работать на элеватор.

— А семья ваша где? Жинка, хлопчики... — участливо спросила Полина Федоровна.

— Семьи нет, — ответил коротко, как обрубил — похоже, больше не хотел говорить об этом.

Но мать не отставала:

— А чего ж так? У каждого должна быть семья.

— Да так, не завел. Были родители, умерли. Теперь один.

— Ой, нехорошо быть одному, нехорошо! Я вот без чоловіка, без мужа, значит, уже шестой год, а все плачу. Вдовья доля тяжкая — ни хату некому починить, ни дров нарубить, ни поле вспахать. О-хо-хо! Да и вдовому или там холостому не легче. А вы человек ще молодой. Зачем одному жить? Вон сколько невест кругом. Хотя бы у нас в станице. Война-то женихов выкосила...

Пока они разговаривали, между ними вертелась маленькая Агнесса, Агня, как ее называла мать, сестренка Вари.

— Вот моя невеста! — шутя сказал квартирант и обнял девочку. Она застеснялась и залезла под кровать.

После ужина квартирант ушел в свою комнату — клетушку с единственным окном, которую отводили обычно постояльцам. В ней помещались только койка да стол — собственно, не стол, а огрызок стола, распиленного надвое еще покойным главой семейства. Возле стола — табуретка, вот и вся мебель.

Квартирант скрылся за дверью и зажил там своей особенной жизнью, не похожей на жизнь тех, кто квартировал здесь до него.

Прежние квартиранты сидели по вечерам в зале, играли в карты, шутливо беседовали с девушками, лузгали семечки, а если надоело сидеть дома, уходили на танцы в клуб. А этот купил себе семилинейную лампу с абажуром, повесил ее над столом, прикрепил к столешнице кнопками большой лист плотной белой бумаги и просиживал над этим столом целыми вечерами, что-то чертил, писал.

Придя вечером с работы, он, часто даже не снимая своей промасленной, усыпанной половой робы, садился за стол. Иногда оставлял дверь приоткрытой, и Варя видела, как он чертит, ловко орудуя линейкой, циркулем и угольником, или что-то быстро пишет, перечитывает, в задумчивости ероша свои черные густые волосы. Или читает. Он привез с собой два чемодана книг и разместил их на полках, которые сделал сам, а те, которые не поместились, громоздились стопками на полу. Далеко за полночь было видно, как из-под двери его комнаты просачивается красноватый свет.

Варя однажды, не удержавшись, спросила:

— Что вы делаете так поздно?

— Работаю,— просто ответил он.

— А днем что делали?

Он засмеялся.

— Днем тоже работал. Но несколько по-другому: больше руками, чем головой.

— Но вы и руками работаете,— она указала глазами на чертежные принадлежности.— И вон как здорово у вас получается.

— Приходится,— с улыбкой сказал Юрий Васильевич.— Без рук и стихи не пишутся.

— Так вы поэт? Как Пушкин?

— Нет, не поэт, Варюша, хотя стихи иногда пишу. Я рабочий человек. И кочегаром работал, и смазчиком.

А теперь вот механик, с машинами дело имею. А по вечерам пытаюсь изобретать.

— Чего — изобретать?

— А вот, например, придумываю приспособление для механической погрузки зерна. Простыми лопатами это делать долго и трудно, а механизмом за несколько минут можно вагон загрузить... А вообще хочу сконструировать такой аппарат, на котором можно было бы долететь до Луны и до других планет...

Шутит, наверное. Принимает ее за маленькую и глупенькую. Варя бросила на постояльца сердитый, исподлобья, взгляд и сказала взрослым голосом:

— Ладно уж вам. Успеете слетать... А теперь идите вечерять.

Она, собственно, и пришла звать его ужинать — сама назвалась, чтобы посмотреть, что делает квартирант.

С каждым днем Варя все больше убеждалась, какой это человек необычный и даже странный. И чем больше странностей его проявлялось, тем больше рос интерес к нему.

Ну то, что он не пил и не курил, — это было чертой симпатичной, особенно с женской точки зрения. Но у него было какое-то непреодолимое, несвойственное взрослым мужчинам пристрастие к сладкому. Сладости он любил и мог съесть их сколько угодно. С полочки покупал конфет всех сортов, какие только были в магазине, — от «подушечек» до шоколадных, — и притаскивал их в огромном кулке домой. Высыпав на стол в большой комнате, приглашал:

— Налетайте, угощайтесь!

— Да куда ж это все? — всплеснув руками, говорила Полина Федоровна. — Го-осподи! Да это ж за месяц не съешь. И зубы спортятся от сладкого.

— Ничего-о! — успокаивал Юрий Васильевич. — Я сладкое каждый день ем, жить без него не могу, а видите, — он показывал белоснежные зубы, — все на месте... Ну, девчата, что же вы робеете?

Варя брала обычно две конфеты, Агния, не церемонясь, гребла к себе, стараясь захватить побольше.

— Ешьте, ешьте, — приговаривал весело квартирант. — В сладком — глюкоза, ценный питательный про-

дукт, необходимый и мышцам и мозгу. Когда вы будете падать от усталости, попробуйте выпить стакан сладкого, очень сладкого чаю, и вашу усталость как рукой снимет, и в голове прояснится...

— Это помогает думать? — спросила Варя.

— Вы угадали: совершенно точно, помогает.

Он рассказал, что раньше сладкого не терпел. Но приучил его к сладостям один матрос-кочегар, с которым он вместе работал на сахарном заводе. Давал своему помощнику выпить перед сменой кружку сладчайшего сиропа — без этого он не смог бы выстоять несколько часов у раскаленных котлов.

И теперь карманы спецовки Юрия Васильевича всегда были оттопырены, и не только от инструментов и ветоши, которой он вытирал руки, но и от конфет — он их ел на ходу и щедро наделял окружающих, особенно детей.

Ну, эта слабость тоже понятна, особенно после его объяснения. А вот еще одна... Это уже не слабость, не особенность, а, как считали некоторые окружающие, ненормальность какая-то, близкая к чертовщине.

Дело в том, что квартирант никогда не спал на кровати, как это делают все обыкновенные люди. Он сшил себе из красного байкового одеяла мешок и залез в него на ночь, оставляя кровать нетронутой. Это повергло хозяйку дома в изумление, граничащее со страхом.

Однажды утром воскресного дня, зайдя к нему в комнату, чтобы прибрать, она увидела на полу возле кровати квартиранта что-то продолговатое и красное. Она страшно перепугалась, решив, что квартиранта зарезали. Ее крик разбудил Юрия Васильевича — он всю ночь работал, поэтому заснул лишь перед рассветом.

— Не пугайтесь, — сказал он. — Я привык спать на полу... Сейчас встану... Только вы, пожалуйста, выйдите, мне надо одеться.

Выяснилось, что он спит в своем мешке... совершенно голый. Все не по-людски у этого квартиранта. А тут еще соседка прибежала, отозвала мать в сторону и шептала что-то ей на ухо, возбужденно кося глазами.

Варя только услышала:

— Как Иисус Христос...

Слух невероятный распространился по станице: этот

самый механик с нечистой силой вожжется, расхаживает по ночам голяком по двору, смотрит подолгу на звезды, на Луну. Может, летает куда вместе с ведьмами на их шабаши.

— Тю! — сказала Полина Федоровна, когда услышала от соседки про эти рассказы. — Да вы что, сдурели все? Очень антилигентный человек наш квартирант. Никаких от него глупостей, наоборот, одно уважение и за квартиру завсегда платит вперед.

— Смотри, Федоровна... — зловеще предупредила соседка. — Как бы потом не наплакаться.

Мать снова махнула рукой, а сама подумала: а бес его знает, может, и вправду квартирант летает куда, пока добрые люди спят.

Решила посоветоваться с местным батюшкой, как следует поступать в случае обнаружения козней нечистой силы. Но тот, одолеваемый местными комсомольцами-безбожниками, которые грозились сверзить колокол и снять кресты с церкви, выслушал ее невнимательно, назвал ее опасения невежеством, однако посоветовал на всякий случай окропить комнату квартиранта, в его отсутствие, освященной водой. Если есть там нечистая сила, то она немедленно улетучится. Это и было сделано. А Юрий Васильевич, придя с работы, принялся и сказал, что в комнате пахнет свежестью, и поблагодарил хозяйку за уборку.

Выходило, или святая вода была недостаточно святой, или квартирант с нечистой силой не якшался.

Варя с интересом присматривалась к постояльцу, стараясь понять: кто он? Бабым рассказам о нем она не верила и яро защищала его, доказывая, что умный он человек — не глупей, а, может, и умней других, — но странности есть, конечно, а у кого их нет? У каждого свои прихоти — один любит сладкое, другой обожает соленое, один спит только в хате, а другой любит на сеновале... Одного Варя не могла понять: почему Юрий Васильевич до сих пор одинок, почему не женится? В станице пели:

Старый кóзак, як собака,  
Досе не женився...

Вот и постоялец был, как тот «старый кóзак». Ведь двадцать шесть ему, как он сам говорит, пора уже семью

иметь, а он на женщин и девушек смотреть не хочет. А невест в станице действительно избыток. И каждый мало-мальски похожий на жениха — на примете. Вон Клавдия, соседка, весьма образованная и культурная дамочка, работающая пишмашинисткой в наробразе, положила, видно, глаз на квартиранта, все чаще стала заходить к ним с тех пор, как познакомилась с Юрием Васильевичем, дошла до того, что явилась однажды без приглашения в его комнату и, скромно опустив глаза, попросила дать ей почитать что-нибудь «завлекательное», желательно про любовь. Но Юрий Васильевич со смехом ей сказал, что ничего «такого» у него нет, книги сплошь научные, про любовь в них ни словечка. Однако Клавдия не ушла и, усевшись на кровать (на единственной табуретке сидел и работал постоялец) и вытянув напоказ свои красивые ноги, завела веселый и лукавый разговор с намеками, который ведут обычно барышни с кавалерами. А постоялец смеялся, отшучивался, а сам то и дело косился на свои бумаги. А потом и вовсе повернулся к ним, отвечая гостье односложно и часто невпопад: «да, да», «нет, нет», «конечно». Обиженная Клавдия, сказав церемонное «извините», ушла.

Но через день опять явилась. Все это видит Варя, и душа у нее закипает от возмущения.

Отчасти понять Клавдию можно: женихов серьезных нет, а девице уже за двадцать пять, скоро, как говорится, «на семена».

Варя, однако, со всем пылом своей юности презирает ее жалкие поползновения. Более того, она просто ненавидит ее и порой по ночам, зарывшись лицом в подушку, плачет от злости и отчаяния. Неужели квартирант может попасться в силки, расставленные хитрой Клавкой?! А она, конечно, недостойна даже его ногтя.

У нее самой, как ей кажется, не может быть таких забот, как у Клавдии. До замужества ей еще ой как далеко. Но на нее уже заглядываются парни. А мальчик из их класса уже несколько раз вызывался провожать ее после школьных вечеров, каковые предложения она с негодованием отвергла: «Сама дорогу найду, не маленькая», а сердце все-таки приятно екало — хорошо, когда на тебя обращают внимание, значит, не совсем дурнушка. Нет, она не собирается ни с кем заводить шуры-муры, хотя многие ее подруги уже обзавелись воздыхателями,

она девушка строгая. Но если найдется в будущем такой человек, которому она решит отдать свое сердце, то он будет, конечно, мужественным, красивым, сильным, хозяйственным — в общем, об стоя т е л ь н ы м мужчиной, как говорит мать, а не каким-нибудь пройдыситом, бродягой.

Но, странное дело, рисуя в своем воображении образ будущего избранника, Варя чаще всего видела перед собой лицо постояльца. Она сама себе боялась признаться в том, что ее тянет, как кусочек железа к магниту, к этому странному человеку, вовсе не подходящему по своим статьям к идеалу обстоятельного мужчины. Ей хотелось чаще его видеть, больше знать о нем, но она не могла, как Клавка, запросто прийти к нему в комнату, завести разговор о том, о сем. Нужен был предлог для этого, и Варя не раз ловила себя на том, что его придумывает. Был единственный и постоянный — когда требовалось убирать его комнату, но в это время постояльца не было дома. Звать на ужин — так это можно было, не переступая порога...

Случай помог. Хоть и ладилось у Вари с математикой, но тут попалась такая проклятущая задача — хоть об стенку головой бейся. Не решается и все. А постоялец был, видать, в этой науке силен — целыми вечерами сидел за столом, исписывал один листок бумаги за другим, рассеивая по белому полю диковинные значки в виде червячков. Многие листы он, скомкав, бросал под стол. Варя однажды, подметая, спросила его, что эти червячки обозначают.

— Это знак интеграла, — сказал Юрий Васильевич. — Знаешь, что такое интеграл?

Варя покачала головой, выпятив нижнюю губу. Получилось это так забавно, что Юрий Васильевич рассмеялся. Но смех его был, как всегда, необидным.

— Ничего, узнаешь. Молодая, все еще впереди...

И рассказал, что интегральное исчисление — часть высшей математики. Интегрирование — действие, противоположное дифференцированию (пришлось еще объяснить, что такое дифференцирование).

И теперь Варя сообразила — раз квартирант в высшей математике дока, то уж уравнения с двумя неизвестными должен щелкать как орешки.

Она пришла к нему с этой самой занудистой задачей. Задача была про бассейн с трубами: через одну трубу

вода вливается, через другую выливается, надо определить, через какое время этот бассейн опорожнится полностью.

— Помогите...— жалобно проныла Варя, словно сама тонула в бассейне.

Юрий Васильевич прочитал задачу, покачал взлохмаченной головой — по стенке метнулась диковинной птицей отброшенная лампой тень.

— Штука, что и говорить, слож-ней-шая,— сказал он.— Мне одному тут не справиться. Так что садитесь, Варенька, вот сюда, к столу, будем решать вместе.

Варя подумала: «Вот те на! А еще интегралы рисует. Со школьной задачей не может справиться... А не придурится ли?» — подозрительно посмотрела на него, но черные глаза квартиранта были непроницаемо-серьезны.

— Прочитайте мне еще раз задачу вслух,— попросил он.

Варя прочитала, не понимая, для чего надо было повторять условие и обязательно вслух, хотя он сам его уже прочитал.

— Так,— сказал Юрий Васильевич,— теперь давайте разберемся...

Его рука изобразила на бумаге четырехугольник.

— Вот это бассейн... Вот тут у нас будет одна труба, вот другая. Через одну вливается, в другую — выливается. Разумеется, с разной скоростью, поскольку сечения неодинаковы... Вот одна скорость, вот другая... Теперь будем рассуждать...

Он задавал вопросы, а Варя на них отвечала. И с удивлением обнаружила, что начинает что-то соображать, ее ответы вызывали все чаще одобрение Юрия Васильевича: «молодец», «умница» говорил он и лишь изредка: «Да нет, вы хорошенько подумайте». Он осторожно и настойчиво вел ее к решению задачи, как ведет зрячий слепого по узкой тропинке над пропастью. И когда был получен ответ, в точности совпавший с тем, который был указан в конце задачника, Юрий Васильевич совсем по-мальчишески крикнул «ура», подбросил задачник к потолку. Варя тоже потихоньку подхватила его возглас. Она ощутила некоторую гордость: ей показалось, что она решила эту задачу самостоятельно, ну лишь при небольшой поддержке. Ну, если уж совсем честно, то они решили ее вместе.

— Вот это да! — с восторгом сказала она.

— Вы способная девушка, Варенька,— говорил Юрий Васильевич.— Вам только нужно больше верить в себя, и вы научитесь решать самые сложные задачи, а не такие пустяковые.

Варя проглотила комплимент, не заметив противоречия: совсем недавно Юрий Васильевич назвал задачу сложной, а теперь, когда она решена, пустяковой.

И видно, так раскраснелась от радости, расцвела, что он, посмотрев на нее, добавил:

— К тому же вы еще и хорошенькая. Вам никто не говорил об этом?

Она не ответила, вспыхнула еще ярче, так что волосы ее чуть не запылали. Схватила тетрадку, задачник и убежала.

Потом несколько дней ходила сама не своя. Тайком поглядывала на себя в зеркало и думала: «Хорошенькая... Сказал тоже. Чего хорошего? Нос не тонкий и прямой, какой рисуют у настоящих красавиц на мыле, а короткий и сапожком, на щеках веснушки, глаза какие-то невыразительные, маленькие. Нет, это он так сказал, для смеха...»

В эти несколько дней она старалась избегать постоянного, при звуке его шагов или голоса пряталась, чтобы он не мог ее видеть.

Но пришло время, и она снова переступила порог его комнаты.

На этот раз помогла астрономия. Преподавал ее в школе учитель математики, он же заведующий школой Яков Ефимович. Этот предмет не входил в число обязательных, и к нему ученики относились с прохладцей. Многие не понимали того, что говорил учитель, объяснения его казались скучными, нудными. Яков Ефимович чертил мелом на доске какие-то круги и эллипсы, которые называл орбитами, отмечал на них точки и говорил, что это планеты. Формулы движения небесных тел, определения широт и долгот угнетали своей отвлеченностью, не запоминались и только царапали мозг. Ученики, позевывая, смотрели в окно или потихоньку играли в «морской бой». Варенька старательно пыталась что-то понять и запомнить из этих уроков, но у нее ничего не получалось.

В этом она и призналась Юрию Васильевичу.

— Ладно,— сказал он — я вас подружу с астрономией.

Усадил за стол и, стоя рядом, за несколько минут объяснил ей то, что неделями безуспешно пытался втолочь в головы станичных хлопцев и девчат их учитель. Не прерывая рассказа, он чертил мягким карандашом на листе бумаги схемы, так что на глазах Вари вырастала Вселенная, открывала секреты своей жизни и движения.

В следующий вечер Юрий Васильевич пригласил Варю в сад — посмотреть на звездное небо, чтобы увидеть все, о чем он рассказывал, в натуре.

Этот вечер Варя запомнила на всю жизнь. Небо было, как на заказ, расцвечено всеми своими огнями. Казалось, все звездочки до единой высыпали на темно-синий небосвод, чтобы помочь Юрию Васильевичу рассказать Варе о великих тайнах Вселенной. Он и она стояли в тени деревьев, а над их головами распростерся во всем великолепии Звездный шлях. И билась на горизонте разноцветной бабочкой неведомая звезда.

Варя стояла как зачарованная, слушая мягкий голос Юрия Васильевича. Он показал ей созвездия — Большую и Малую Медведицы, научил находить Полярную звезду, показал Дракона, Кассиопею. Называл звезды по именам, даже самые крохотные и незаметные. Оказалось, что каждая из звезд, составляющих ковш Большой Медведицы, имеет свое имя. Только звучат они чудно: Алькор, Мицар — из-за этого их трудно запомнить.

— Это арабские названия,— говорил постоялец.— Древние арабы были большими знатоками астрономии, они по звездам находили верный путь в море и пустыне. Потому многие звезды носят арабские имена. Вот, например, Алькор по-русски означает «всадник». А вот погляди на ту звезду, что на самом сгибе ручки ковша Большой Медведицы. Смотри внимательней. Можешь закрыть ладонью один глаз, чтобы не рассеивать зрение... Сколько звезд ты там видишь?

Он к ней впервые обратился на «ты», и это сразу отметила Варя. Взволнованная этим, она ответила не сразу. Сказала неуверенно:

— Там как будто... Не одна звезда, а две.

— Правильно,— обрадовался Юрий Васильевич, как

будто Варя преподнесла ему подарок. — У тебя отличное зрение. Древние арабы, кстати, подобным образом определяли остроту зрения: кто видит на этом месте не одну звезду, а две, у того зрение в порядке... Там действительно две звезды. И та, которая сверху, поменьше, называется Алькор, то есть «всадник». Не правда ли, похоже на человека, сидящего на лошади?

— Правда. Так что они — одна на другой?

— Нет. Они на огромном расстоянии друг от друга, но угол между ними небольшой, поэтому кажется, что они рядом.

У нее мелькнула мысль, что вот и они так же, несмотря на взятый им дружеский тон и то, что они стоят рядом, очень далеки друг от друга, пожалуй, подальше, чем эти звезды.

Много удивительного рассказал Юрий Васильевич Варю в этот вечер. Оказывается, звезды, как живые существа, рождаются, растут и гибнут. Иногда они взрываются, образуя новые миры и планетные системы, а осколки от этих взрывов долетают до Земли и осыпаются метеоритным дождем — осенью небо плачет огненными слезами. Но ближайшая звезда от нас так далеко, что лететь до нее, даже со скоростью света, а большей быть не может, надо несколько лет. А до других и вовсе — миллионы.

— Так, значит, люди на звездах так никогда и не побывают, — с грустью заключила Варя.

— Нет, почему же? — возразил Юрий Васильевич. — В принципе можно достичь звезды и в течение одной человеческой жизни.

— Но ведь человек не живет миллион лет.

— Правильно. И все же эта задача разрешима.

Он рассказал ей, что есть такая теория (он назвал имя ученого, который ее создал, но Варя это имя забыла), по которой время с приближением скорости летательного аппарата к световой как бы замедляется для тех, кто в нем летит. Так что человек, улетевший молодым с Земли в другую галактику, может вернуться обратно немного постаревшим, а на Земле пройдут века и тысячелетия, и никто уже не встретит его из тех, кто провожал.

— Ни родных своих — отца и мать, сестер и братьев не увидит? — спросила она, скорей опечаленная, чем пораженная.

— Конечно, нет! И внуков и правнуков не будет в живых.

— Плохо,— вздохнула она.— Несчастный тот человек будет.

— Но люди к тому времени найдут, наверное, и способ продления человеческой жизни.

— Разве так может быть?

— Может. И обязательно будет. И мы еще увидим, Варенька, как люди полетят на Луну и другие планеты.

В его словах была такая уверенность, что и она прониклась ею. И если бы он сказал ей, что завтра же люди полетят на Луну, она в тот вечер поверила бы ему. И попросила взять ее с собой.

Они стояли рядом в тени деревьев, так близко, что она порой слышала стук его сердца, особенно тогда, когда он наклонялся к ней, показывая рукой ту или иную звезду. Через тонкий ситец платья Варя чувствовала идущее от него тепло, по телу ее пробегала дрожь, непонятное волнение охватывало ее. Но она готова была стоять так и слушать его мягкий голос хоть до утра.

— Варя-а! — закричала с крыльца мать.— Где ты есть? А ну, скорей до хаты!

— Да, правда,— сказал Юрий Васильевич.— Устала ты, наверное, слушая мою лекцию. И прохладно становится. Пошли домой.

Варя хотела возразить, что ей совсем не холодно и она совсем не устала, готова слушать еще и еще, но мать кричала все настойчивей и злее:

— Варя-а! До хаты!

Мало-помалу раскрывалась перед ней душа этого человека. Сложной и непостижимой была она с первого взгляда. На поверхности — одно, а внутри — совсем другое. Было непонятно, откуда у простого механика, мало чем отличающегося от обыкновенных работяг, такие обширные знания. А всего-то, по его словам, гимназию закончил да проучился несколько месяцев в институте. На вид казался суровым и замкнутым, а на самом деле — простецкий человек, любящий шутку, охотно и радостно смеющийся, доверчивый, как ребенок. И это его стремление вырваться за пределы земного, к звездам, тоже казалось продолжением его доверчивого

характера — придумал человек в самом детстве сказку и сам поверил в нее. Ну что ж, если это помогает ему жить...

После того вечера, когда он показывал Варя звезды, их отношения стали теплей, словно они вместе приобщились к какой-то тайне. Она уже приходила в комнату Юрия Васильевича, не подыскивая для этого предлога, и они подолгу беседовали.

Однажды она попросила у него что-нибудь почитать.

— Но у меня... — начал он, помня просьбу Клавдии. Потом посмотрел на нее внимательно, прочел в глазах ее мольбу и сказал: — Хорошо, я тебе дам одну книгу. Только уговор: прочтешь и скажешь — понравилась ли она тебе. Только честно. Это самая моя любимая и заветная. Я прочитал ее еще в детстве и с тех пор вожу с собой.

Юрий Васильевич вынул из чемодана тщательно завернутую в плотную бумагу книгу.

— И еще прошу — никому ее не передавай...

На обложке Варя прочла название книги и фамилию автора. Это был «Туннель» Келлермана.

Два дня сидела Варя не разгибаясь, читала. Роман поглотил ее целиком, увлек размахом, смелостью замысла. Юрий Васильевич не раз говорил, что людям очень многое доступно. Что, если все человечество топнет одновременно, шар земной может сойти с орбиты. А если, забыв распри и войны, люди возьмутся за какое-нибудь полезное, нужное для жизни дело, то горы на своем пути сметут! Вот о таком деле и было написано в книге немецкого писателя Бернхарда Келлермана.

Картины грандиозной стройки — строительства туннеля под Атлантическим океаном — с грохотом, ревом механизмов, безостановочным движением потных рук тысяч и тысяч полуголых рабочих, описание жуткой катастрофы, едва не перечеркнувшей смелый проект инженера Мака Аллана, не оттолкнули ее, не вызвали желания пропустить их, пролистать.

Аллан чем-то напоминал ей Юрия Васильевича. Нет, не внешностью. У Аллана — не особенно высокий рост, крепкое телосложение боксера, мягкие каштановые волосы, отливающие медью, глубоко посаженные глаза. А Юрий Васильевич высок, черноволос, глаза жгуче-черные, притягивающие, как магнит, и отталкивающие

одновременно. Во всем остальном они, как два близнеца: одна страсть их одолевает — сделать то грандиозное, что они задумали, готовность пожертвовать ради этого своим здоровьем, благополучием, самой жизнью.

Теперь она понимала, почему Юрий Васильевич не женится: семья связывала бы его, он увяз бы в тине будничных забот и не смог сделать то, что задумал.

Варюше захотелось чем-то помочь ему. Хотя бы в чисто житейских делах: приготовить для него обед, постирать белье. Ей была глубоко симпатична жена Аллана маленькая уютная Мод, которая любила своего мужа и тосковала, не видя ответной любви. Особенно запомнилась Варя сцена, когда Мак рассказывал жене о своем великом замысле, и ее любовь к нему вспыхнула с новой силой, чтобы уже никогда не угаснуть. Варя даже выписала эту сцену в свою тетрадку, в которую собирала полюбившиеся ей стихи и крылатые выражения.

« — Послушай, Мак... Почему ты не рассказываешь о своих делах с Ллойдом?

Он принялся объяснять ей, о чем шла речь. Откинувшись на спинку дивана, добродушно улыбаясь, он самым спокойным образом излагал ей свой проект, как будто бы собирался строить всего лишь какой-нибудь мост через Ист-Ривер. Мод сидела в своем ночном одеянии, изумленная, непонимающая. Но, разобравшись, она перестала изумляться. Ее глаза раскрывались все шире и сверкали все ярче. Голова пылала. Она вдруг поняла смысл всей его работы за последние годы, значение его опытов, моделей, чертежей.

Мод подошла к нему, крепко поцеловала в губы.

— Мак, мой Мак, — прошептала она.

...У нее вдруг мелькнула мысль, что творение Мака не менее величественно, чем симфонии, которые она сегодня слушала, но только в другом роде...»

Варя осторожно отчеркнула ногтем на полях книги строчки, в которых говорилось, как Мод, ушедшая спать (было уже поздно), вновь возвращается к Маку, работающему в своем кабинете за столом: «Она принесла с собой одеяло. Шепнув мужу: «Работай, работай», она свернулась калачиком рядом с ним на диване и, положив ему голову на колени, заснула...»

Проведя машинально черточку на полях, Варя покраснела: зачем она это сделала? Юрий Васильевич еще

заметит, рассердится. Ведь он просил обращаться с книгой бережно. Однако паутинную черточку, как она ни старалась, загладить не удалось.

В сознании Вари книга оставила глубокий след. Разве могла она оставить кого-нибудь равнодушным? Проникшись любовью и горячим сочувствием к Мод, Варя так же горячо возненавидела Этель — дочь миллиардера Ллойда, — когда та вознамерилась овладеть душой и телом Аллана, оторвать его от Мод. Варя проливала горькие слезы, читая, как погибла Мод со своей маленькой дочкой от рук разъяренной толпы.

— Ну что, понравилось? — спросил Юрий Васильевич, когда она принесла ему книгу.

И по одному ее благодарно сияющему взгляду все понял.

Он заходил по комнате, радостно потирая руки:

— Так я и знал... Так я и знал...

Потом вдруг спросил:

— Хочешь, я тебя познакомлю с тем, что я сейчас делаю?

Он развернул перед ней один из своих чертежей, расстелил на столе.

— Вот! — сказал торжественно. — Это тот самый аппарат, на котором люди вскоре смогут полететь к Луне.

Юрий Васильевич начал объяснять ей устройство летательного аппарата, который он называл «снарядом», растолковывать принцип, на основании которого он будет двигаться. Варя слушала его объяснения сначала внимательно, а потом несколько рассеянно. В отличие от Мод, слушавшей Аллана, она сначала кое-что понимала, а потом в ее голове все смешалось, она потеряла нить рассуждений Юрия Васильевича, осталась лишь досада на себя, бестолковую. А потом пришло и недоверие: разве могут люди на такой штуковине, похожей на баклажан в разрезе, взлететь к звездам? Может, это только фантазия?

И совсем уж непонятное стал говорить Юрий Васильевич о будущем планеты. Наступит, дескать, время, когда на Земле все запасы топлива истощатся, да и Солнце к тому времени поостынет, и воцарится лютый холод. Люди тогда примутся летать на таких вот «баклажанах» в поисках более теплых планет или будут ловить в пространстве солнечные лучи, закупоривать их в банки,

как консервы, а потом привозить на Землю для обогрева. Такого не мог придумать даже барон Мюнхгаузен, забавную книжку о котором Варя недавно прочла!

Она искоса посмотрела на Юрия Васильевича с тайной надеждой, что он шутит. Но лицо его было серьезно. И тогда она от души пожалела его: бедный, неужели он во все это верит?.. Потом опомнилась — она просто не поняла его, не способна понять, потому что дуреха.

И в порыве раскаяния сказала:

— Юрий Васильевич, я чем-нибудь могу помочь вам?

— А я только хотел, Варенька, попросить тебя об одной услуге. У тебя хороший, четкий почерк. Не смогла бы ты переписать начисто мою работу? Мне ее надо отсылать в Москву.

— Ой, да я с удовольствием! Прямо сегодня начну!

Но лишь уселась Варя за стол и написала несколько фраз на девственно-белом листе хорошей бумаги, как поняла, что продолжать работу не сможет: рукопись изобиловала диковинными словами и выражениями, которые Варя никогда не слышала и не читала, к тому же почерк у Юрия Васильевича был неважный — некоторые слова просто невозможно было разобрать.

— Нет, не могу... — сказала она, и слезы брызнули из ее глаз.

— Ну что же ты плачешь? — сказал он мягко. — Не надо, не надо. Я сам постараюсь переписать поразборчивей. Не плачь...

И вытер своим шершавым, как напильник, пальцем слезы на ее щеках, как это делает добрый родитель своей маленькой зареванной дочке.

— Вы, может, дадите переписать ваши бумаги Клавдии? — сказала она, немного успокоившись. — Ведь она на машинке работает.

— Нет, нет! — как-то испуганно сказал он. И еще раз повторил: — Нет!

А вокруг жили люди как люди, шла жизнь как жизнь — со своими радостями, горестями, приобретениями и потерями, всем, что сопровождает обыкновенное человеческое существование.

Станица не город, но и на ней отражались события, происходившие в городах, правда, не в столь больших, а порой и в микроскопических размерах. Был объявлен

нэп, и всюду открывались крохотные лавочки, мастерские, сколачивались артели извозчиков. Каждый норовил украсить свою жизнь, хотя бы и за счет ближнего. Скоробогачи приодевались, скрипели новыми ботинками на рантах.

Только странного квартиранта ничего это вроде не касалось. Он по-прежнему расхаживал по станице в своей замасленной куртке, поверх которой надевал в холодные дни такую же замызганную телогрейку. Шел на работу и с работы, никаких развлечений помимо дома не признавал, разве что иногда уходил к своему знакомому, помощнику механика Лаврову, играть в шахматы.

— Что ж вы ходите, Юрий Васильевич, як той старец? — не выдержала однажды Полина Федоровна. — Деньги же какие-никакие заробляете, могли бы и одеться.

Юрий Васильевич беспечно махнул рукой:

— А зачем? То, что на мне, меня устраивает. Да и с деньгами у меня не так густо.

— Так вы ж получили недавно по переводу! И хорошие деньги. Куда ж вы их подевали?

Юрий Васильевич действительно получил не один, а несколько переводов из Москвы — плату за какие-то свои изобретения.

— Отослал,— сказал Юрий Васильевич,— в тот же день послал одной семье, которая очень нуждается.

— «Одной семье...»,— ворчала себе под нос Полина Федоровна. — Что там за семья?

Она подозревала, что у квартиранта где-то жена и дети, только он это скрывает. Эти подозрения поддерживала и Клавдия, которая потерпела решительное поражение в своих попытках добиться благосклонности Юрия Васильевича. Но прочие считали его просто ненормальным, а у ненормальных деньги в руках держаться не могут.

Все это Варя больно переживала. Ведь она-то знала, что Юрий Васильевич человек умный, что многие из тех, кто его осуждает и смеется над ним, карлики перед ним. Но почему он дает повод для сплетен, для насмешек над собой? Ведь вся станица говорит, что он разгуливает голяком по ночам.

Она попробовала осторожно поговорить с ним об этом, но он с добродушной улыбкой ответил:

— Ах, Варенька, ерунда все это! Пусть болтают

языками, а я буду делать свое дело... Такова человеческая натура: ограниченные люди хотят, чтобы все были похожи на них, и отступления от созданного ими стандарта считают преступлением.

Стояли светлые лунные ночи. В одну из них Варя решила проверить — действительно ли квартирант лунатик или наговаривают на него напраслину?

Дождавшись, когда мать с сестрой заснут, послышится их сонное дыхание, она, накинув платок на голые плечи, тихонько, на цыпочках подошла к двери комнаты квартиранта. Из нее не доносилось ни звука. Она тихонько приоткрыла дверь. Заглянула. Кровать квартиранта была пуста. Сердце у нее замерло: неужели все правда? Но, присмотревшись, Варя увидела рядом с кроватью, в голубом коврике лунного света какой-то грязно-розовый кокон. Квартирант спал в своем мешке. Спал вверх лицом, и от лунного света оно казалось неподвижной гипсовой маской...

Варя осторожно прикрыла дверь. На душе стало легко и радостно: и никакой Юрий Васильевич не лунатик! Самый обыкновенный человек. И если спит на полу, в мешке, значит, так ему нравится.

Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить домашних, пошла на цыпочках. И... в темноте столкнулась с матерью.

— Что ты там делала? — строго спросила Полина Федоровна. — Еще этого нам не хватало!

На следующий день мать сказала квартиранту, что в дом приезжают близкие родственники и поселятся тут надолго, поэтому Юрию Васильевичу надо поискать другую квартиру.

— Зачем? — сказал он. — Я и сам собирался уходить — приглашают меня на работу в другое место. Разрешите только мне закончить тут свои дела, и я освобожу комнату.

Варю в это время услали в другую станицу, к родственникам, и она не видела, как уходил Юрий Васильевич.

А уходил он, как она узнала, налегке, с одной котомкой, в которую сложил самое необходимое. Все остальное — главным образом книги — он обещал забрать осенью, когда устроится на новом месте.

Когда Варя вернулась домой, она увидела комнату квартиранта пустой. Книги из нее вытащили и сложили

в сарай, полки, сделанные квартирантом, сожгли вместе со столом, за которым он работал. При виде голых стен ей стало тоскливо и неудобно в родном доме.

Через несколько дней повстречалась на улице с Клавдией. Хотела пройти мимо, но та ее остановила.

— Ну как, успокоилась? — спросила. И уже вслед крикнула: — Не нужна ты была ему, не нужна! И никто ему не нужен. Потому что ненормальный он, не от мира сего...

Пройдет много лет. Варя, Варвара Владимировна, доживет до пенсии, превратится в бабу Варю, так ее будут звать в станице, и останется вековать в пустом старом доме, где она родилась и где прошла вся ее жизнь.

Комната, где жил когда-то квартирант, так и осталась незанятой. В ней Варвара Владимировна восстановила все так, как было при нем. Те же полки с книгами по стенам, тот же огрызок стола у окна — все было сделано снова, — та же кровать, застеленная розовым байковым одеялом.

Варя как будто ждала, что Он вернется.

Но они больше никогда не виделись. Лишь однажды квартирант напомнил о себе.

Как-то весной приехал из города человек, представился научным сотрудником краеведческого музея. Сказал, что у него есть серьезный разговор. Баба Варя в это время копала под окнами грядки, готовилась сажать картошку и с неохотой пошла в дом. Но как только этот человек назвал имя и фамилию квартиранта, она мгновенно забыла обо всех житейских делах. Перед глазами ее всплыло худощавое лицо с жарко горящими глазами.

— Да, конечно, помню, — сказала она. — Жил у нас такой. А что вы хотели о нем знать?

— Все, буквально все. Припомните любую мелочь. Может, какие вещи после него остались, бумаги...

— Да что он такое натворил?

Она так и сказала «натворил» и сама смутилась от такого неловкого выражения.

— Как? Разве вы не знаете? Это же один из основоположников космонавтики. Он, наряду с Циолковским... По его проекту люди полетели на Луну...

И еще много говорил этот человек. Он называл Юрия

Васильевича «великим», «выдающимся», «первопроходцем», а в голове у Варвары Владимировны бился один вопрос: «Да жив ли он?»

Об этом она и спросила, когда рассказала приезжему научному работнику все, что знала о Юрии Васильевиче.

— Нет, — со вздохом сказал приезжий, — к сожалению, нет. Он погиб в Отечественную.

В этот день Варвара Владимировна надела черный вдовый платок.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### У синих гор

И опять он едет. Снова на юг — во Владикавказ. Будто птица — присел на ветку, отдохнул и снова в полет, к невидимой никому и ведомой лишь ему цели.

А как ему хорошо работалось в Крыловской, в низеньком домике с голубыми ставнями! Никогда прежде он так не ощущал реальность того, ради чего трудился все эти годы. Может быть, потому, что у него, наконец, появилась крыша над головой, он был сыт, жил в тепле, имел постоянный заработок. А это освобождало его силы и мысли от необходимости ежедневно бороться за кусок хлеба. И рукопись книги о полетах в межпланетное пространство была завершена им там, в Крыловской. Он снова отослал ее в Москву профессору Ветчинкину и стал ждать ответа.

Утром, умывшись холодной, до ломоты в висках, водой из колодца, он шел на работу.

Эlevator возвышался сказочным богатырем в остроконечном шлеме над скоплением белых мазанок, серой путаницей садов. Он сытно урчал, втягивал в свое чрево длинные обозы с зерном и выплевывал их уже порожняком. И вечно вилось над ним дымное облако сизарей, высматривавших среди соломы и половы, устилавшей двор, пухлые воскового цвета зернинки.

Перешагнув порог проходной, Юрий Васильевич погружался в поток хлопотливой жизни, становился как бы ее частью. Вокруг выли и щелкали ремнями механизмы, приводимые в движение силой пара, а чаще — вручную. Они сушили, очищали зерно, тащили его

наверх, чтобы засыпать в гулкие бетонные закрома. И непрерывность этого движения зависела от него, механика. Любая поломка, любой затор порождали скандальные крики.

— Механик! Механик! Где этот чертов механик?!

И вот он уже спешит с гаечным ключом в руке и штангенциркулем в кармане куртки. Наклоняется над застопорившим механизмом, заливает в замершие шестерни масло из огромной масленки, похожей на птицу с длинной тонкой шеей, подкручивает ключом ослабевшие гайки, и опять заурчал механизм, заработал!

Немало ругани валилось на его осыпанную половиной и оттого казавшуюся седой голову, но много радостных и восхищенных возгласов доводилось слышать.

— Ото мастер! — говорили, ставя пальцы торчком, кряжистые дядьки, привозившие зерно из хуторов и станиц. — Нам бы на мельницу такого машинного лекаря.

И это была награда за всю целодневную колготню, за сбитые до крови пальцы, с которых уже не отмывалась въевшаяся в них металлическая пыль, за попорченные легкие, стонущие от того, что в них шел перемешанный с дымом и пылью воздух.

Тут уж ему было не до космических мечтаний, он опускался в буквальном смысле с неба на землю и сам, наполненный будничными заботами, становился частицей земли. Время от времени он убегал в душ, чтобы смыть с себя пыль и грязь, промыть горло и нос — иначе невозможно было работать. И сквозь плеск воды слышал:

— Механик! Механик! Куда задевался механик?!

Но и тогда, когда все шло своим чередом, все механизмы работали исправно, он ходил, присматриваясь. Что-то возмущало его душу, в которой прекрасным видением стоял образ серебристой красавицы ракеты, устремленной в космос, что-то не давало успокоиться его разуму, сосредоточиться лишь на великом и возвышенном. Эти пропотевшие до нитки кофты станичных девчат, сгребавших деревянными лопатами зерно, рассыпанное для просушки, эти тархтящие веялки, приводимые в движение руками тех же девчат, этот замасленный палец весовщика, медленно и неуверенно передвигающий гирьку хлебных весов. Каменный век да и только!

Вечером, придя домой, он не сразу садился ужинать,

а шел в свою комнату и набрасывал на бумаге то, что пришло ему в голову днем. Механический ковш-лопата для погрузки зерна в вагоны может освободить целую армию тех же девчат с лопатами. Счетчик к автоматическим весам избавит малограмотного весовщика от его трудных раздумий, а доставщиков зерна — от обвесов. Он делал чертежи, выполнял расчеты, создавая пока что на бумаге полезные приспособления, которые, что было немаловажно, вполне можно было изготовить на месте, используя детали вышедших из строя механизмов.

Некоторое время спустя, когда и ковш и счетчик уже заработают на элеваторе, Кондратюк пошлет чертежи и описания своих приспособлений в Москву и получит оттуда патенты на изобретения, скрепленные красными сургучными печатями.

Отныне он становится не просто механиком, а изобретателем. Мало того, ему еще посылают и деньги, причитающиеся в качестве гонорара.

Этим можно было бы гордиться и поживать на лаврах всю оставшуюся жизнь. Но тоска и беспокойство переполняли его душу: главное, над чем он бился всю сознательную жизнь, после обнадеживающего начала, кажется, застопорилось, и на этот раз бесповоротно. Его «космический проект» блуждал в Москве по каким-то загадочным инстанциям, и ответы, которые приходили изредка оттуда, были неопределенные, а то и вовсе пакостные. На его запрос Главнаука, наконец, ответила, что рукопись передана ГИЗу — государственному издательству на предмет решения вопроса об ее издании. А ГИЗ сообщал, что рукопись книги «Завоевание межпланетных пространств» — так он озаглавил ее окончательный вариант — послали на отзыв авторитетным научным специалистам, то есть опять, видимо, в Главнауку. Но разве профессор Ветчинкин, давший блестящий отзыв, не авторитетный специалист? Получалась какая-то недостойная игра по типу «Гони зайца по кругу». Неведомые авторы этих отписок советовали ему «набраться терпения и ждать».

И он ждал, очень терпеливо ждал. Тем не менее ходил каждый день на почту справляться — не пришел ли ответ из Москвы. Завидев его еще издали, почтовые девчата выразительно разводили руками.

Ответ пришел лишь перед самым его отъездом из Крыловской. Дрожащими от волнения руками он вскрыл

большой серый конверт. На нескольких листках тонкой папиросной бумаги была отпечатана лиловыми буквами рецензия. Рецензент весьма едко высмеивал потуги автора сказать что-то новое по сравнению с трудами известных зарубежных исследователей и ученых в области межпланетных сообщений, а также патриарха отечественной астронавтики К. Э. Циолковского. Перед нами, писал он, типичный изобретатель-самоучка, не имеющий достаточных знаний для обоснования своих фантастических предложений. Поэтому издание книги «Завоевание межпланетных пространств» было бы напрасной тратой сил и средств, так необходимых Советской Республике, поставившей перед собой грандиозную задачу индустриализации народного хозяйства.

Это был не просто удар, а настоящее крушение.

Надо было снова садиться за рукопись, которую ему вскоре вернули из издательства, проверить все расчеты, уточнить формулировки, сделать более убедительным изложение, доказать принципиальное отличие его работы от трудов Циолковского и других исследователей.

Но это он сможет сделать лишь тогда, когда обретет новое пристанище.

Вагон кашляет, сморкается, по-детски надрывно плачет. Проплывают за грязным стеклом степные станции и разъезды. Осень. У перронов — оципанные тополя с черными уродливыми узлами вороньих гнезд. Капли дождя прорывают светлые извилистые дорожки на стекле, наливаются ртутной тяжестью и падают уже отвесно. Проводник шаркает по полу, орет на пассажиров, заставляя их поджимать ноги, тащит к тамбуру за ухо обнаруженного под лавкой беспризорника.

Все это — на его глазах, но как-то проходит мимо сознания. Он — в кабине межзвездного корабля, под антрацитовым небом с белыми немигающими звездами. Он летит, и встречные метеоры, осколки разрушенных солнц, вспыхивают за иллюминатором мгновенными жуткими улыбками.

Брезентовый портфель, который он прижимает к груди, — как некий спасательный круг. Там его рукопись, возвращенная ему ГИЗом, вместе с предисловием профессора Ветчинкина. Когда ему становится невольно и небо кажется размером с овчинку, он читает и перечитывает это предисловие.

Профессор пишет, что автору впервые удалось вывести формулу влияния массы баков для горючего и кислорода на общую массу ракеты. Предложение делать ракету с крыльями, замечает он, отсутствует в иностранных работах, а в России эта мысль была впервые высказана Ф. А. Цандером в 1923 году, а затем опубликована К. Э. Циолковским... все же после того, как появилась в рукописи никому не известного автора. И даже такой вопрос, как устройство промежуточной базы между Землей и другими планетами, как считает Ветчинкин, поставлен вполне основательно. Сама база мыслится как спутник не Земли, а Луны, что в значительно большей мере гарантирует базу от потери скорости вследствие длительного торможения.

Удивительно, что человек, которого он ни разу еще не видел и с которым не перекинулся ни единым словом, понял его так, как будто сидел с ним рядом все время за его расчетами и чертежами! Но почему же другие не понимают его и, что самое страшное, не хотят понять?

«Можно только удивляться талантливости и широте взглядов русских механиков-самоучек!» — так завершал Ветчинкин свое предисловие.

Тут уж Владимир Петрович, считал Кондратюк, несколько хватил через край, назвав его механиком-самоучкой, таким, какими были Кулибин, Ползунов, отец и сын Черепановы. Нет, он не мог быть ровней этим гениям, да и знания его, если говорить серьезно, были поосновательней, чем у них, шедших к своим открытиям часто на ощупь. Все же эти слова были приятны, укрепили его веру в себя, которая пошатнулась было после ужасных отзывов московских экспертов.

А самое главное, нашелся, наконец, единомышленник. Как, оказывается, важно найти того, кто тебе поверит и повторит твои мысли как свои собственные! Наверное, вот так же было необходимо Робинзону найти на необитаемом острове живое человеческое существо — Пятницу, без которого он не смог бы выжить, несмотря на всю свою изворотливость и сметку.

Но вот, кажется, стена неверия рухнула. Профессор Ветчинкин — крупнейший специалист в области аэронавтики, ученик самого Жуковского — теперь его союзник.

Он не знал тогда лишь одного — что вера может постоянно, с удивительной периодичностью, сменяться

неверием. Вверх-вниз, вверх-вниз — как на качелях.  
И так до конца жизни.

Во Владикавказе ему предложили работу на элеваторе, который строился в селении Эльхотово. Работа привычная — техником, но элеватор пока еще только строился, надо было принимать для него оборудование, которое поступало, а потом размещать его и монтировать.

Пока оформлялся на работу в местной конторе Союзхлеб, а это заняло несколько дней, знакомился с городом.

Рассеченный надвое мутным, непрерывно шипящим Терек, пронзенный насквозь зеленой стрелой проспекта с красивым бульваром посередине, город словно упирался в синий забор гор с серебряными прожилками вечных снегов. Но близость гор была обманчивой — до них надо было идти десятки километров.

Жил Юрий Васильевич в эти дни в маленькой замызганной гостиничке с громким названием «Лондон». По ночам долго не мог заснуть, слушая, как под окнами играет гармонь и поют гортанными голосами осетины: «Ой, Хазби-и-и...» Он никогда не думал, что гармонь — любимый инструмент горцев. В окно плыл синий чад от мангалов, на которых румянились шашлыки. В духанах, располагавшихся в подвальчиках почти каждого дома, кипела чуть не круглосуточная веселая жизнь.

Днем, побывав в конторе, он шел обычно отдыхать в маленький сквер около железного моста через Терек. Мост так и назывался Железным. Он заинтересовал его своей незатейливой, но прочной конструкцией, позволявшей выдерживать и напор весенних паводков, которые здесь должны быть особенно бурными, и тяжесть непрерывно идущих по нему трамваев, грузовиков, телег. И вместе с тем он был легок на вид, ажурен. Интересно, кто его строил? Видно, очень толковый инженер.

Он сидел на лавочке, любуясь мостом и роскошной панорамой гор. Рядом мелодично журчал небольшой, но весьма затейливо устроенный фонтан. Посреди бассейна высилась мускулистая фигура стрелка из лука. Стоя на одном колене, стрелок натянул тетиву, нацелился в зенит, лоя на кончик стрелы видимую только ему цель. А где же стрела? Вместо нее — лишь тоненькая, ко-

леблемая ветром струйка. Юрий Васильевич тоже посмотрел вверх, словно пытаясь разглядеть, во что же целился бронзовый лучник, но ничего не увидел, кроме кружащихся под облаками ворон, похожих на ключья саж. Нет, наверное, эта цель была высоко за облаками, может быть, за пределами земного тяготения...

А рядом у дощатого ларька звенели пивные кружки, слышался гомон нетрезвых людей...

В Эльхотово можно было ехать на автобусе, по тряской дороге. Но он предпочел поездом — гораздо удобней и быстрее, и пыли по пути не наглотаешься.

Сошел на маленькой станции, которую уже проезжал один раз, белый вокзальчик был пуст, и не у кого было даже спросить, как пройти на элеватор. Решил идти наудачу. Встречная женщина в платке, прикрывавшем лицо по самые брови, с ведром в руке, испуганно шарахнулась в сторону, когда он спросил ее про элеватор, и только пробормотала:

— Не знай... По-русски не понимай...

Зато босоногий мальчишка в роскошной бараньей папахе долго что-то ему объяснял, показывая рукой то направо, то налево, и, убедившись, что приезжий ничего не понимает, выдал, наконец, по-русски:

— Лэватор нэту. Стройка есь... Иды прямо, прямо по дорога, там спроси, как Дзгоева найти...

С большим трудом он все же добрался до стройки. Когда вошел в контору, которая помещалась в дощатом вагончике, там сидел, заполняя собой почти все помещение, крупный мужчина в бешмете и папахе, ожесточенно крутил ручку телефона и кричал громовым голосом: «Алë! Алë!» С досадой швырнул трубку на рычаг и только тогда посмотрел на вошедшего.

— Привез?

— Чего привез? — опешил Юрий Васильевич.

— Ва! Забыл, зачем я тебя посылал? — он яростно потряс перед собой сложенными в щепоть пальцами. — За цементом я тебя посылал! Где он?

— Никто меня ни за чем не посылал. Я приехал только что. Из Владикавказа. Меня направили к вам на работу.

— Ф-фу, — сказал мужчина. — Извини, дорогой, обознался. Есть у нас тут снабженец, очень на тебя

похожий... Голова идет кругом, понимаешь, скоро сам себя узнавать перестанешь. Того нет, другого нет, никуда не дозвонишься, — он с досадой толкнул похожим на футбольный мяч кулаком жалобно звякнувший телефон. — Третий день сидим без цемента. Послал за ним человека, а его как собаки съели... Да, давай познакомимся — Дзгоев, начальник строительства. А ты кто будешь?

— Кондратюк, механик.

— А-а, дорогой! — Дзгоев с неожиданной для его комплекции легкостью выскочил из-за стола и заключил Юрия Васильевича в могучие объятия. — Тебя нам как раз и не хватало. Техника поступает, а разобраться в ней некому. Садись, садись, зачем стоять! Какие там документы, после посмотрим! Сначала тебя надо устроить, чтобы ты мог покушать, отдохнуть. Знаешь, как у нас на Кавказе говорят: «Когда желудок полный, сердце спокойный», — это я тебе на русский язык перевожу. Ой, как хорошо, что ты приехал, дорогой! У нас пока тут такой народ собрался, что может только землю лопатой рыть да сваи заколачивать...

Через пять минут они уже разговаривали так, как будто были знакомы десяток лет. Дзгоева звали Калцыко, и он просил называть его только так — «у нас половина селения Дзгоевых, а Калцыко я один», — к Кондратюку обращался по-свойски на ты, но по имени и отчеству, хотя и произнося их несколько сокращенно: «Юр-Василич».

Пока шли на квартиру, Калцыко коротко рассказал о себе: воевал в гражданскую, брал Перекоп, ходил на Варшаву. После демобилизации приехал в родное селение, и тут его вызвали в райком и сказали: «Будешь строить элеватор». А он никогда раньше и слова такого не знал. Пришлось учиться самому, читать книги. Да мало он еще что знает. Вот Юр-Василич, человек образованный, ему поможет.

— Да у меня у самого с образованием не очень, — поскромничал Юрий Васильевич. — Практик я больше...

— Но-но! — Калцыко покачал огромным пальцем. — Слышали мы тут про одного механика с Крыловского элеватора, который там чудеса творил. Не ты ли это, Юр-Василич?

— Я, — сознался Кондратюк. — Только какие там чудеса? Так, мелкие приспособления...

Они пришли в низенький, чисто выбеленный домик, окруженный садом, где предстояло жить Кондратюку. Калцыко представил его хозяевам как своего лучшего друга, ученого человека, просил хорошо кормить его и ухаживать как за родным.

— О делах завтра, завтра,— сказал он на прощанье Юрию Васильевичу.— Приходи к восьми на работу, а пока отдыхай.

Оставшись один в комнатке с окном, выходящим в сад, Юрий Васильевич блаженно растянулся на кровати, покрытой грубошерстным одеялом, под ковром с ярким национальным узором и только прикрыл глаза, как сразу провалился в глубокий сон. Напрасно хозяева посылали черноглазого мальчика звать его к ужину — он не проснулся, спал, как в самые ранние свои годы — без сновидений.

Наутро они с Калцыко ходили по товарному двору станции. Сеял непрерывный мелкий дождь. Пахло размокшей древесиной от стоявших на площадке ящиков. Калцыко хлопал по ним широкой ладонью, приговаривал:

— Это наше... Это тоже для нас...

— Не рановато ли прислали оборудование? — засомневался Юрий Васильевич.— Машины испортятся, пока элеватор построим.

— Зачем говоришь худые слова?! — возмутился Калцыко.— Через месяц, не больше, все будет стоять под крышей. Мы обязательство такое дали — в ударном темпе, понимаешь... Вот только бы цемент не подвел...

— Легко сказать — через месяц. А где до этого должны стоять машины? Под дождем, под снегом? Зима ведь ждать не будет, того гляди, мухи белые полетят,— возражал Юрий Васильевич.— А тут электромоторы. Если обмотка промокнет — их хоть выбрасывай.

— Брезентом накроем,— быстро сказал Калцыко.— Брезента у нас сколько хочешь.

— Никаких брезентов! — повысил голос Кондратюк.— Навес надо строить. Притом срочно.

— Хорошо, хорошо, сделаем навес...— Калцыко сдвинул на затылок папаху, вытер вспотевший лоб.— Только с лесом у нас плохо. Тот, что есть, идет на опалубку... Молчу, молчу, инженер! Сделаем, как требуешь!

Закончив осмотр, они сидели в конторе, чаевничали, Калцыко, аккуратно и бережно откусывая крупными белыми зубами микроскопические кусочки сахара от большого куска рафинада — чтобы надолго хватило, — говорил:

— Сам аллах тебя ко мне прислал, точно говорю, Юр-Василич. Такого человека я давно ждал. Правой рукой моей будешь, техноруком. Да ты клади, клади больше сахара в чай, не смотри, что я так пью, почти вприглядку, — это привычка у меня такая. Вижу, ты сладкое любишь. Вот кусок, вот два. Для головы это полезно, это я знаю... Ну расскажи, как жил до сих пор, где родился, где родня твоя живет. Это не для анкеты, мне ее не надо, хочу только знать, откуда хорошие люди являются... Луцк? Знаю я этот город, проходил через него со своим эскадром. Понравился город, ничего... А где ты там жил?

— Да там, на горе. От костела такой подъем идет, так вот в конце его, квартала через три...

— Костел, гора? Что-то не помню. Ну, правда, мы быстро шли, приглядываться было некогда. Так, так, рассказывай дальше. Кто были твои родители, живы ли? Братья и сестры есть?

Калцыко шумно пил чай, по-мышинному прикусывая сахар, но Юрий Васильевич чувствовал, как эти укусы приходятся прямо по его сердцу. Он отчаянно барахтался на краю пропасти, говоря о Луцке, в котором никогда не бывал, о «родителях», которых в глаза не видел, краснел, бледнел и молил бога только об одном — как бы не запутаться.

О родне своей прямо сказал, что никого из близких у него в живых не осталось. Ни в Луцке, ни в другом месте.

— Вай, вай, это плохо, — покачал головой Калцыко, аккуратно кладя почти целый кусок сахара на перевернутый стакан. — И не женился никогда? Нет?

— Холостой пока.

— Ну ничего — мы тут тебя осетинским зятем сделаем!

— Это как понять?

— А очень просто, дорогой: женим тебя, женим на осетинской чызг — девушке, значит.

Большое осетинское село, или, как его здесь называют, селение Эльхотово, раскинулось у самого входа в горловину, образованную предгорьями Большого Кавказа и Тереком, и стоит, как часовой у ворот, ведущих в долины Осетии. И может быть, в силу своего такого месторасположения оно имеет славную и древнюю историю.

У этих ворот не раз расшибали себе лбы, кто пытался через них прорваться нахрапом, в том числе полчища Чингисхана и Тимура.

Коренные насельники этих мест топорами, копьями и луками, а потом и кремневыми ружьями защищали свои дома и свободу. А в мирные времена у этих ворот кипел шумный торг. Купцы с севера встречались тут с купцами южными. Переливались радугой шелка, распространяли дивные запахи восточные благовония и пряности.

На этом месте и возник когда-то торговый город Дедьяков, через который проходили пути из прикаспийских городов в Закавказье, Персию и Турцию. Пожары, землетрясения, набеги завоевателей, а пуще всего неумолимое время разрушили Дедьяков до основания, так же, как и город Татартуп, возникший на его месте. Остался только торчать перстом уткнувшийся в небо минарет исчезнувшей мечети. Не кричал с него муэдзин, сзывая правоверных на молитву, и казался минарет занесенным сюда неведомой силой, чтобы удивлять людей своей неприкаянностью. С годами он наклонился к земле, словно изучая собственное подножие — долго ли оно выдержит? И никто не мог сказать, когда упадет минарет — через год, через десять, а может быть, еще век простоит.

Обо все этом Юрий Васильевич узнал из неторопливых рассказов седебородых эльхотовских стариков. Он любил после работы бродить по окрестностям селения, пробираясь и к минарету, распугивая ящериц, прыскавших от него в разные стороны по шуршащей траве. Отсюда хорошо было любоваться сглаженными ветрами и временем холмами, на которые уже ложились прозрачные, легкие краски заката, библейскими видами дальних гор, что громоздились на юге голубыми и синими ярусами в белых чалмах снежных вершин. Ближние предгорья были тщательно выкошены запасливыми хозяевами и напоминали стриженные овечьи бока. Бежал по

долине Терек, или Терк, как его называли по-местному, бежал, разбиваясь на рукава, и был он мутен, желт, совсем не похож на тот, что был воспет поэтами, но в этой его будничности и деловитости было нечто такое, что было по душе Юрию Васильевичу. Может быть, то, что эта неугомонность совпадала с его собственной.

Он не умел отдыхать, то есть так вот просто ходить или сидеть без дела, глазеть по сторонам. В его голове шла вечная работа. Вот он присел на камень возле покосившегося минарета и, глядя на него, принялся думать — для чего бы можно приспособить это сооружение? Может, телескоп на нем установить для астрономических наблюдений или, на худой конец, переоборудовать под водонапорную башню? Кладка солидная, прочная. Вот только похилился, бедняга, — видно, от оползня. Надо бы его выпрямить... И в уме уже рождался проект выпрямления минарета. В блокноте, который был всегда при нем, Юрий Васильевич набросал карандашом схему. Больших затрат это дело не потребует, нужна самая простая техника и немного людей. Но пока еще не пришло время для таких работ... Юрий Васильевич захлопнул блокнот и быстро зашагал вниз по склону\*.

Строительство элеватора продвигалось на первых порах не так быстро, как хотелось бы и как требовали в Центре. Особенно медленно разворачивались бетонные работы. И не только потому, что задерживались поставки цемента и железа для арматурных работ. Начальник строительства, он же директор будущего элеватора, охрид, ругаясь ежедневно по телефону с поставщиками и железнодорожным начальством, но, кажется, добился своего — нужные для строительства материалы стали поступать с меньшими перебоями. Основная беда заключалась в неопытности рабочих, приходивших в основном из ближайших селений, — они были почти сплошь неграмотны, русским языком не владели, могли работать лишь топором, киркой, лопатой. Испокон веков эти горцы

---

\* Уже в наши дни местные «умельцы» загубили древний минарет: пытаясь выпрямить, зацепили стальным тросом, потянули трактором, и то, что стояло века, за пять минут превратилось в груду камней.

имели дело с таким материалом, как дикий камень, глина, реже — с деревом, а бетон был для них в диковинку, они не умели с ним обращаться, а тем более вязать арматуру. Юрию Васильевичу часто приходилось оставлять монтаж механизмов и идти на бетонирование, учить этому делу людей и самому попутно учиться.

Тормозила работы опалубка. Громоздкие деревянные формы, в которые укладывался бетон, строились медленно — не хватало дерева, а особенно гвоздей, каждый из которых был на учете. Когда бетон затвердевал, опалубку ломали, делали новую. Пропадали доски, гвозди приходилось выдирать из обломков, выпрямлять, этим была занята целая бригада.

Такого варварства Юрий Васильевич не мог перенести. Он предложил делать такую опалубку, которая могла бы передвигаться по мере затвердения бетона. Это сразу ускорило темпы во много раз. «Какое простое дело», — думал Юрий Васильевич, наблюдая, как сказочно растут стены здания, освобождаясь от громоздкой деревянной оболочки. Он не мог и предположить тогда, что это «простое дело» вызовет целую революцию в строительстве, особенно высотных зданий. Он, как всегда, выполнял лишь то, что требовала от него жизнь.

Здание уже поднялось под крышу, надо было устанавливать механизмы. Больше всего беспокоило Юрия Васильевича энергетическое хозяйство. От того, как будут работать моторы, зависело — станет элеватор богатырем или слабым калекой. Нужны были мощные дизели. Он поделился своей мыслью с Калцыко, и тот сказал:

— О чем разговор? Езжай на завод и выбирай самые лучшие моторы. В Сормово надо ехать? Езжай в Сормово. Мы тебе хорошую бумагу дадим сормовским кунакам, чтобы помогли кавказским братьям. Национальная политика! И Хазби, моториста нашего, с собой прихвати. Он черкеску наденет, кинжал возьмет. Только глянут на него — все отдадут: как отказать сыну гор!

У Калцыко слова не расходились с делом, и через несколько дней после этого разговора Юрий Васильевич с мотористом Хазби, веселым разбитным парнем, уже ехал на Волгу за дизелями. Средство Калцыко сработало безотказно — им дали возможность отобрать на заводе механизмы.

По приезде были смонтированы и установлены транс-

портеры, зерносушильные и зерноочистительные машины, вентиляторы, автоматические весы. Юрий Васильевич занялся сборкой механической лопаты собственной конструкции — Калцыко, настоял, чтобы и у них была такая же, какая работала в Крыловской.

Так проходил день за днем, и, казалось, у него не остается никакой возможности — ни сил, ни времени, — чтобы заняться работой, которую он считал главной. Но в сутках были еще ночи. Он просиживал до петушиных криков над рукописью книги о завоевании межпланетных пространств. Ни одно издательство не бралось печатать его труд. Аванс, выданный впопыхах ГИЗом, быстренько отобрали. И тем не менее он не сдавался. Все проверял заново — каждую формулу, каждую фразу. Написал свое предисловие — «от автора», где доказывал (кому?) важность издания этой книги именно сейчас, когда Человечество уже взялось за ручку двери, ведущей в космос. Остается только ее открыть. Он искренне верил, что это время не сегодня завтра наступит.

Иногда, чтобы ожесточиться и утвердиться в своей правоте, перечитывал пасквильные рецензии, поступившие из Москвы. Особенно его злило, когда его обвиняли в заимствовании каких-то идей из работ иностранных авторов. И конечно, на каждом шагу — сопоставление с Циолковским: если их выводы совпадали, то у Циолковского, оказывается, все изложено грамотней и обоснованней, если расходились — то прав Циолковский, а не Кондратюк.

В конце концов это ему так надоело, что он решил написать в Калугу самому Константину Эдуардовичу — к тому времени он уже узнал его адрес. Рассказал ему о своей работе, раскрыв в какой-то степени ее содержание, и, как почтительный ученик, попросил патриарха космоплавания сообщить ему свое мнение — в чем их работы совпадают и в чем различаются, уж если сам Циолковский признает оригинальность его работы, то это заткнет рот безответственным хулителям.

Ответа долго не было. Кондратюк уже смирился с этим, зная, что Циолковский стар, болен и просто не в состоянии отвечать всем, кто ему теперь пишет. И когда все-таки пришло письмо из Калуги, он долго вертел его в руках, не решаясь вскрыть — слишком большое значение имело для него то, что там было

написано. Что в этом письме: одобрение и поддержка или окончательный, вбивающий в землю удар?

Это было ни то, ни другое... Ответ Циолковского был спокойным и чуточку снисходительным — так отвечает корифей юному, восторженному последователю. Он признавал сходство своих работ с тем, что ему сообщал скромный механик из Эльхотова, но успокаивал Юрия Васильевича: мол, так бывает. Многие ученые и изобретатели шли к своим открытиям одновременно. И в этом нет ничего странного — необходимость того или иного новшества диктуется временем. Одни приходят к финишу раньше и называются первооткрывателями, другие — позже, они — последователи. Но дело не в частных амбициях, а в том, чтобы люди поскорей шагнули в космос. И в этом деле работа найдется всем.

В таком духе писал Константин Эдуардович, как бы накладывая мягкие милосердные бинты на кровоточащую рану безвестного самоучки-изобретателя, элеваторного механика.

И лишь в заключение пробились заинтересованность в нем лично: попросил подробней написать о себе, прислать, по возможности, свою фотографию.

Был ли это простой жест вежливости или в этом проявился действительный интерес к его личности?

Прочитав письмо, Кондратюк долго сидел, обхватив голову руками, не зная, как ему поступить. Расписывать старику подробности своей жизни, полной ям и ухабов, не хотелось, да и не мог он написать все как на духу. Письмо могло быть прочитано не только Циолковским, и тогда... Время было суровое, советская власть жестко поступала со всякими перевертышами. Фотографии подходящей тоже не было — Юрий Васильевич фотографировался очень редко, и то по крайней необходимости, по причинам, тоже вполне понятным. Самым правильным было то, если б он послал в Калугу свой труд. Но не в рукописи же, которая существовала, кстати, всего в одном экземпляре. Лучше, конечно, послать книгу, но неизвестно, когда она появится в свет и появится ли вообще.

Тем временем подходила к концу его жизнь в Эльхотове. Новый элеватор вот-вот вступит в строй. А из Москвы пришло приглашение — отправиться на строи-

тельство крупного зерносклада на Алтай, в город Камень-на-Оби. Писал ему один из руководителей Союзхлеба Петр Кириллович Горчаков, с которым он познакомился, когда получал направление в Эльхотово. Он, оказывается, следил все это время за его работой, его изобретениями. Стройка в Западной Сибири, писал он, разворачивается грандиозная, и Юрию Васильевичу с его масштабными способностями как раз там и место. Кстати, и сам Петр Кириллович вскоре собирался в те края — ему поручили возглавить контору Запсибэлектро в Новосибирске, так что они будут почти что рядом и смогут часто общаться. У Горчакова были какие-то технические идеи, по поводу которых он хотел бы посоветоваться с Кондратьюком — авось между ними возникнет тесное творческое содружество, которое пойдет им обоим на пользу.

Предложение было заманчивым. Юрий Васильевич никогда не бывал в Сибири, в его представлении это был край неограниченных возможностей, где можно было осуществить самый грандиозный и смелый проект. И он согласился без особых раздумий. Бедному собраться — только подпоясаться, как любил говаривать дед Аким, и вот уже все имущество уложено в чемодан, и он на пороге новой жизни.

Позже, когда эльхотовцев расспрашивали, что это был за человек — как он выглядел, как себя вел, с кем и о чем разговаривал, они пожимали плечами и говорили: «Человек как человек». И впрямь, ничего за ним такого особого не замечали: ходил, как все, одевался, как многие. Правда, папахи и черкески не носил. Был он приезжий, рабочий человек, а когда строился эlevator, таких в селении было много. Однако расспросы и просьбы людей, иные из которых специально приезжали для этого в Эльхотово, были весьма настойчивы: «Ну вспомните хоть что-нибудь, хоть небольшой случай», и тогда уже появились специалисты по таким воспоминаниям, чаще — глубокие старики. Старательно морща лбы, они вспоминали. Где действительно что-то вспомнят, где придумают.

Камболат Мильдзихов, годы которого уже приближались к сотне, рассказывал всем одну и ту же историю — такую простую, что ее невозможно было придумать. Историю о кусачках.

— Продавцом я тогда работал в сельпо, — говорил скрипучим голосом слепой Камболат. — Давно все было, трудно припомнить, но это помню хорошо... Дали мне в постройкоме элеватора список сотрудников. Я должен был по этому списку выдать им продукты. После работы они приходили ко мне в лавку, получали хлеб, сыр, масло... И вот вошел такой высокий, чернявый, на осетина похожий человек. Я с ним по-осетински, а он головой мотает, смеется. «Нет, я, — говорит, — не ирон\*, я украинец...» Выдал я ему продукты. Он, когда расписывался, положил на прилавок свои кусачки. «Хорошие у вас кусачки, — говорю, — не забудьте их, а то заберу». Пошутил, конечно. А он: «Нравятся? Так я могу их вам подарить. Возьмите!» Я удивился: откуда он наш горский обычай знает: дарить кунаку то, что ему нравится? «Нет, — говорю, — что вы! Кусачки вам для работы нужны, а я обойдусь». — «Ну смотрите, — смеется, — в другой раз не предложу — пожалеете!» Забрал свои продукты и кусачки и ушел. Больше я его не видел... Да-а-а, — протянул он, хитровато улыбнувшись, отчего лицо его собралось в глубокие морщины, — я потом и вправду пожалел, что не взял кусачки... Сейчас бы любой музей у меня их с руками оторвал. Вот какой это был, оказывается, человек!

Где-то высоко над селением распарывал небо невидимый реактивный самолет, будто само Время вычерчивало в голубом небе свой необратимый путь.

Бывший моторист Хазби рассказывал:

— Сидел он как-то в конторе, в чертежах разбирался. А тут фотограф из города приехал — фотографировать ударников на Доску почета. Я — к Юрию Васильевичу: «Васильич, бросай все, иди во двор. Съемщик приехал, карточки будет делать с ударников. Да скорей, ждут тебя, ты же у нас ударник».

А он только рукой махнул — ну вас, отвяжитесь.

Я его за рукав, он вырывается: «Отцепись, последнюю одежду порвешь».

На нем была все та же роба, в которой он и работал, и в клуб иногда ходил.

Фотограф оказался настырный — я, говорит, заставлю его сняться. Сам пошел к нему в помещение с фото-

---

\* Ирон — осетин.

аппаратом. Вышел, улыбается, все свои золотые коронки показывает: «Все,— говорит,— запечатлел. Теперь уж он от нас никуда не денется...»

А разговор между ними произошел такой: «Кто тут у нас не желает сниматься? — спросил фотограф.— А вот мы его сейчас из пушки!» Установив свой аппарат, крикнул: «Смотреть сюда, не шевелиться! Айн, цвей, дрей!»

Васильич только успел поднять глаза от своих чертежей, сердито так глянул на фотографа. Таким его и изобразили.

Через несколько дней из города пришел пакет фотографий. Юрий Васильевич нашел среди них и свое изображение. Усатый человек в черной рабочей куртке сидел за столом и хмуро смотрел в объектив. Получилось прилично, хотя в комнате во время съемки было не очень светло. И он решил, за неимением другой, послать эту фотографию Циолковскому. И послал несколько позднее, уже из Сибири, с письмом:

*«Уважаемый Константин Эдуардович!*

*Извините за длительный неответ. Посылаю Вам свою карточку, снятую в бытность мою механиком Эльхотовского элеватора. Вас же, со своей стороны, прошу прислать те из Ваших сочинений, которые у Вас сохранились; перечитывая их перечень, я каждый раз удивляюсь сходству нашего образа мыслей по многим разным вопросам и потому особенно интересуюсь ими; кроме того, если у Вас имеется фотография — и в ней прошу не отказать...»*

Осетины — народ гостеприимный. Урушшаг\* Васильич быстро прижился в селении, стал своим. Его приглашали на свадьбы, многочисленные кувды — пиры, где есть и крепкая кукурузная водка — арака, и темное прохладное пиво — баганы, и румяные олибахи — сыр-ные пироги, и шкварчащие в жиру шашлыки, и — гордость каждой хозяйки — духовитый мясной пирог фыдчин; да разве только для еды и питья собираются тут люди! Собираются для веселья, для душевного общения: кружатся волчком танцоры под звуки гармоний, поющих

---

\* Русский (осет.).

в руках молодых девушек, степенно движутся в симде, массовом танце, вереницы гостей.

И Васильич приходил — отказываться было неудобно, но лишь застенчиво улыбался и разводил руками, когда его приглашали на танцы, и только пригубливал из роскошных, отделанных серебром рогов, которые ему подносили как гостю. Кем-то наученный, он благодарил за честь и адресовал рог кому-нибудь из соседей. Его друг, моторист Хазби, объяснял это так: «Человек научный. Думает. А арака голову мутит, ему нельзя». И сам чаще всего осушал за него рог.

С особым интересом слушал Юрий Васильевич осетинские песни, которые пели мужчины, пели на разные голоса — то взлетающие высоко-высоко, то низко стелющиеся, как туман, сползающий с гор. Иногда просил тех, кто был к нему поближе, рассказать, хоть коротко, о чем в них поется. В песнях славились народные герои, борцы за свободу — Хазби, Чермен, и он вспоминал о Байде, о Кармалюке — героях песен, слышанных в детстве. А разве лукавая черноглазая Гандзя, украинская красавица, не родная сестра черноокой осетинке Тауче? А эти стремительные взлеты голосов — разве не в них звучит та же тоска по воле, как в песне детства «Чому я не сокил»?

Особенно он привязался к старому Созрыко, сказителю, который, подыгрывая себе на скрипочке-фандыре, поставленной торчком между колен, надтреснутым от старости голосом пел о могучих нартах — богатырях, живших некогда в горах, что синели на горизонте: о булатногрудом Батрадзе, о хитроумном Сырдоне, о своем тезке — благородном Созрыко. Они были так смелы и могучи, эти нарты, что вступали в единоборство с самим богом. Они взлетали при этом к небу и бились с царем небесным так, что пух от него летел. Старик пел, а его правнук — шустрый мальчишка лет двенадцати — переводил гостю содержание песни.

— Как же они летали? — не удержался Юрий Васильевич от практического вопроса. — Крылья у них были, что ли?

Старик замолчал, продолжая, однако, водить смычком по струнам. Потом что-то сказал. Правнук перевел:

— Он сказал, что нарты были люди, а у человека крылья вот тут... — мальчик постучал согнутыми, фиолетовыми от ягод тутовника пальцами по своему лбу.

Наступил день отъезда из Эльхотова. Он в последний раз окинул взглядом зеленую долину, по дну которой, шлифуя камни, катил неугомонный Терек, холмы, покрытые сизой пеленой тумана, домики, прячущиеся в зарослях кукурузы, древний, наклонившийся к земле минарет. Над всем этим высились новые, сверкающие белизной строения элеватора — это он оставлял на память о себе.

Мысленно поклонился этой земле, принявшей его по-доброму. Кое-что он успел сделать здесь, но многое не успел. И то, что не успел, верилось, за него доделают другие.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### Наш милый фантаст

— Вы Дон Кихот, Юрочка, настоящий Дон Кихот,— говорила ему Ольга Николаевна Горчакова, прелестная женщина с теплыми, ярко сияющими глазами.— Смотрите лишь вперед и вверх, грозите своим копьём нашей косности и невежеству. Но спуститесь хоть на минуту со своих высот вниз на землю, оглянитесь вокруг, и вы увидите, как много прекрасного в нашей обыкновенной жизни...

— А я и вижу... Вижу, например, вас, чудеснейшее творение природы, радуюсь тому, что сегодня на паек давали залом — великолепную каспийскую сельдь. Вкуснейшая вещь, доложу вам!.. И совсем я не Дон Кихот, уважаемая Ольга Николаевна: с ветряными мельницами не воюю, а, наоборот, строю склады для зерна, которые дадут пищу этим самым мельницам... Так что я самый настоящий Санчо Панса.

— Ах, это вы только говорите... А в мыслях у вас... Вот такие скромники, как вы, становятся со временем Коперниками. Ну, пейте, пейте чай, мой рыцарь печального образа. И пожалуйста, не принимайте всерьез моих слов. Это я, милый, играю, изображаю из себя слегка постаревшую, но еще кокетливую даму. Ведь я мечтала когда-то стать актрисой, готовилась поступать на столичную сцену, проходила даже конкурс. А теперь испытываю на других искусство, которое не пригодилось для сцены...

С тех пор как он стал появляться в семье Горчаковых, ему не раз приходилось становиться и зрителем и участником маленьких спектаклей, разыгрываемых Ольгой Николаевной. Муж ее, Петр Кириллович Горчаков, тоже имел необыкновенно богато одаренную натуру — недурно рисовал акварельными красками — главным образом пейзажи, пел приятным голосом, подыгрывая себе на гитаре, старинные романсы «Не искушай», «Я встретил вас», «Сомнение». Но, самое главное, он был Инженером, именно с большой буквы, новатором и изобретателем, в голове которого роилось такое множество идей, что он просто не знал, за какую ухватиться прежде, довести ее до конца, чтобы проснуться однажды всемирно известным и богатым.

Высокий, громкоголосый, одетый изысканно, всегда при галстук-бабочке, он сразу привлекал к себе внимание окружающих, особенно женщин. Многие поддавались обаянию его личности, с восторгом выслушивая афоризмы Горчакова, его смелые и острые суждения, прощая попутно маленькие грешки заимствования этих мыслей и суждений у других, ныне живущих и давно умерших. В ряды почитателей его таланта стал и скромный инженер-самоучка, приехавший с Северного Кавказа. Приглашен он был лично Петром Кирилловичем в качестве механика-наладчика строящегося в Камне-на-Оби механизированного зерносклада, но за короткое время сумел так развернуться, что ему поручили наблюдать за строительством элеваторов в Бийске, Поспелихе и Шипунове.

Горчаков с самого начала, еще когда тот работал в Эльхотове, взял Кондратюка на дальний прицел. Ему нужен был как раз партнер — человек, умеющий воплотить смелые технические идеи, переполнявшие Петра Кирилловича, в линии чертежей и цифры расчетов. Причем этот человек должен быть не славолюбивым и не очень притязательным в смысле материального вознаграждения за свой труд. Петру Кирилловичу казалось, что несомненно талантливый, работающий и, что немало важно, бессемейный Кондратюк как нельзя лучше подходил для этой роли. Еще работая в Москве, Петр Кириллович, зорко следящий за текущей технической литературой, сумел оценить по достоинству изобретения эльхотовского механика — его механическую лопатку для погрузки зерна в вагоны и счетчик к автомати-

ческим хлебным весам. Как будто ничего особенного, а перспектива у этих приспособлений огромная! Ничего подобного не было не только на отечественных, но и на зарубежных складах и элеваторах.

Кондратюк в первые же месяцы своего приезда на Алтай показал, что переезд за тысячи километров был не напрасным. Он составил проект строительства деревянного склада в Камне-на-Оби, поразивший всех своим размахом и простотой.

В Камне нужно было построить зерносклад, который бы вмещал одновременно до 10 тысяч тонн зерна. Задача по тем временам грандиозная и сложная. Раньше подобные зернохранилища строились по канадским проектам, требовавшим целые эшелоны пиленого леса, гвоздей, шпал. Ничего этого на Алтае в готовом виде не было, все это приходилось везти через всю страну, а порой из-за рубежа, платя валюту. Поэтому приходилось полагаться на свои, местные, ресурсы.

А какой на Алтае был самый доступный и дешевый материал? Конечно, лес. Могучие сосны, кедры шумели на склонах гор. Руби и сплавляй по реке.

Юрий Васильевич выдвинул идею: строить зерносклад из рубленого леса. Так, как в старину да и сейчас кое-где строили и строят избы: без единого гвоздя, укладывая одно бревно на другое «в лапу». Набросал проект такого зерносклада и отвез в Новосибирск. Там его сначала едва на смех не подняли: «Это ж вам не баньку строить. Склад должен десятки лет простоять, а ваша изба от сильного ветра рассыплется». «Сотню лет простоят», — уверенно сказал Кондратюк.

Первым, кто его поддержал, был Горчаков. По его настоянию проект был принят. Руководить работами по строительству зерносклада поручили автору, придерживаясь, очевидно, принципа: ты предложил, ты и выполняй, с тебя и спрос в случае чего.

После того как проект был утвержден, Петр Кириллович пригласил приехавшего из Рубцовска Юрия Васильевича к себе домой.

— Приходите. Супруга моя тоже очень будет рада. Она о вас весьма наслышана. Вот мой адрес... — он протянул ему свою визитную карточку.

На глянцевого четырехугольнике плотной бумаги особенно четко выделялось слово «инженер», написанное с большой буквы.

В тот же вечер Юрий Васильевич пришел по указанному адресу. Повернул вертушку звонка. Послышался мелодичный звон. Дверь очень быстро распахнулась, на пороге стоял сам Петр Кириллович — в домашней куртке со шнурами и стеганым воротом, в пенсне на подбородке, с горбинкой, носу и с газетой в руке.

— Ба-а! — воскликнул он. — Вот и вы! Рады, очень рады! Олечка! Олюня! — крикнул он в глубину квартиры. — Посмотри, кто к нам пришел!

В прихожую впрорхнула, именно впрорхнула, а не вошла, необычайно стройная женщина в кружевном белом фартучке поверх цветастого платья. Она улыбалась так ярко и радостно, что гость даже прижмурил глаза. Он никогда еще не видел такой красивой женщины.

— Это Юрий Васильевич Кондратюк, я тебе много о нем говорил — выдающийся инженер-изобретатель. А это, позвольте представить, моя дражайшая половина — Ольга-свет-Николаевна...

— Лучшая твоя половина, как ты говорил раньше, — продолжая улыбаться, сказала Ольга Николаевна и протянула гостю узкую белую руку, держа ее высоко и внутренней стороной ладони вниз. Юрий Васильевич только позже сообразил, что он должен был поцеловать эту руку, но теперь от смущения так растерялся, что только пожал кончики пальцев. — Здравствуйте, здравствуйте, — словно не замечая его смущения, говорила Ольга Николаевна и глядела при этом на него, чуть наклонив голову. — Много слышала о вас, Юрий Васильевич. Так что мы с вами заочно давно знакомы. Поэтому заходите без стеснения, будьте как дома.

Смущение же Юрия Васильевича проистекало не от того, что он забыл галантные манеры — как-никак хоть и недолго и в лихое время, но был офицером, — а потому, что застеснялся своего вида — рабочей спецовки, истоптанных сапог при виде ухоженной, со сверкающим паркетным полом квартиры. Пахло только что испеченными пирогами, изо всех дверей в прихожую веяло теплом и уютом хорошо налаженного семейного очага. Несмотря на то что его наперебой приглашали «не стесняться» и располагаться «как дома», он все же не решился войти в комнату в своих сапогах, снял их у порога, и ему дали взамен мягкие домашние туфли.

И когда они уже сидели за большим круглым столом,

застеленным белой вязаной скатертью, пили чай с клубничным вареньем и пирогами, Юрия Васильевича не покидало ощущение, что после долгих странствий он, наконец, вернулся в дом своего деда и вот сейчас бабушка Екатерина Кирилловна, ласково глянув на него — напился, нет? — протянет к его стакану свою добрую белую руку и наполнит опять янтарной заваркой и крутым кипятком.

Разговор шел о том, о сем. Хозяева тактично, ненавязчиво пытались выяснить подробности его жизни — откуда он родом, кто его родители, живы или нет. Он, в свою очередь, чтобы прервать поток этих не совсем удобных для него вопросов, сказал:

— Но вы, я вижу, быстро освоились в Сибири.

Ольга Николаевна вздохнула, слегка затуманилась:

— Ох, не говорите. Все тоскуем по солнцу, по югу. Петя ведь екатеринодарец, с Кубани. И потом кочевая жизнь. Ездим из города в город, как цыгане. Где только не жили. И все строим, строим, проектируем, руководим, а свой дом все никак построить не можем.— Ольга Николаевна при этом искоса посмотрела на Петра Кирилловича, как бы спрашивая: «Так я говорю?», но он, шумно прихлебывая чай, не обращал, казалось, на ее слова никакого внимания.— Ну, наверное, где-нибудь задержимся, и тогда, если уж совсем не состаримся к тому времени...

Тут Петр Кириллович, со стуком отставив пустой стакан, перебил ее:

— Знаете, Юрий Васильевич, мне одна мысль не дает покоя. Это касается вас. Разрешите, я вам сейчас ее выскажу. Так вот, вы, насколько я могу судить, инженер божьей милостью и можете делать гораздо больше того, что делаете сейчас. Мне кажется, вы просто зарываете свой талант в землю — а это нехорошо, вы этим обделяете не только себя, но и все общество. Инженеру нужен простор, размах!.. Знаю, знаю, что у вас нет диплома, но ведь дело не в бумажке, да и не о том речь. У вас талант, огромный талант! То, что вы сейчас делаете, это, конечно, нужно, но это, извините, мелочь для такого гиганта, как вы. Электрификация всей страны — вот дело, которому надо посвятить всю жизнь! Вы с планом ГОЭЛРО знакомы? Вот где масштабы! Осветить огнями Россию-матушку, пробудить ее от медвежьей спячки, сделать самым передовым государством в ми-

ре — вот цель. Тут есть над чем подумать лучшим нашим умам. Чтобы это была действительно электрификация, а не электрофикация, как язвят некоторые, кому не по душе планы большевиков. И я, хоть и не коммунист, но душой и телом готов включиться в это дело. И призываю вас, да, именно вас! Стране сейчас нужны такие работники, как вы — инициативные, думающие, с фантазией... У меня, кстати, есть для вас кое-какие конкретные предложения...

— Но,— сказал Юрий Васильевич, воспользовавшись небольшой паузой в этом потоке красноречия — Петр Кириллович в это время нацеживал из самовара новый стакан чая,— вряд ли я смогу оправдать ваши надежды. Я всего-навсего скромный механик, причем самоучка, работал до этого, как вы знаете, на сахарном заводе да по мукомольно-элеваторной части...

— Ни слова больше! — загремел Петр Кириллович.— Что это за манера у талантливых русских людей уничивать себя? Это, наверное, с тех пор пошло, когда башковитый дворовый человек писал своему господину: «А бьет тебе челом твой верный раб Никишка...» Зачем это? Зачем?! Что вы мне о себе рассказываете? Я вас знаю, признаюсь, лучше, чем вы можете себе представить. Я уже давно знаком с вашими изобретениями — по описаниям. И заинтересовали меня не столько они, ваши придумки, а главным образом вы — их творец! Да, да, не морщитесь, не скромничайте — настоящий инженер, а вы таковым являетесь, это творец, бог — Саваоф в своем деле и достоин всяческого поклонения. Вот и я вам кланяюсь...

Петр Кириллович наклонил над столом голову, шевелюра упала ему на лоб, закрыла глаза. Юрию Васильевичу даже показалось, что он слегка под хмельком, хотя ничего, кроме чая, они не пили.

Ольга Николаевна смеялась, мило помахивая ручкой.

— У Пети это конек, не смущайтесь... Он считает, что только инженеры «владеть землей имеют право»...

— И на костре это повторю! — вскричал Горчаков.

Такая была теплая, располагающая к откровенности атмосфера, что Юрий Васильевич не удержался — рассказал Горчаковым о своем «звездном проекте». Петр Кириллович сразу притих, прикрыл глаза ладонью, словно слушая милую сказку, и ни разу его не перебил. Зато Ольга Николаевна слушала с восторгом, смотрела

на Юрия Васильевича не отрываясь, кивала головой в такт каждому его слову.

— Поразительно! — воскликнула она, когда он закончил. — Неужели это может осуществиться еще при нашей жизни?

— Вполне возможно...

Заговорил Петр Кириллович:

— Голубчик, я же знал, что вы гений, — обронил снисходительно и небрежно. — Но все же ваш космос — дело да-алекого будущего, во всяком случае, это не то, что сейчас, сию минуту, нужно. А я вас зову в электрификацию. Электрификация — вот где мы с вами можем развернуться! Я уже сказал вам, что я вскоре перехожу на работу в Запсибэнерго и буду там, без лишней скромности, не последним человеком... Так вот, завершайте свой зерносклад и переходите ко мне. Для вас в нашей конторе всегда найдется место...

Расстались друзьями. Петр Кириллович на прощанье обнял Юрия Васильевича, сказал, что дом его всегда для него открыт и чтобы он, приезжая в Новосибирск, ни в какую гостиницу или общежитие не шел, а прямо к нему. «Да, да», — подтверждала ласковыми кивками Ольга Николаевна. И он, наконец, решился, прощаясь, поцеловать ее руку.

Шел в гостиницу по спящим улицам города и напевал. Редкие прохожие шарахались от него, принимая за пьяного.

На берегу Оби росло диковинное сооружение — огромный деревянный амбар длиной в 60 и шириной в 32 метра. На восемнадцатиметровой высоте от него тянулась, словно хобот, транспортная галерея, уходившая к пристани на реке. Оттуда прямо с речных судов зерно должно было доставляться через этот хобот прямо в чрево зернохранилища. Когда оно уже было готово, то каждый, увидевший его со стороны, невольно сравнивал сооружение с неким допотопным чудовищем, присевшим возле реки, чтобы попить воды. Так этот склад и окрестили Мастодонтом, и это название осталось за ним по нынешнее время.

После сооружения Мастодонта Юрию Васильевичу поручили руководить строительством всех зернохранилищ в Омской, Новосибирской областях и в Алтайском

крае. А руководить в его понятии означало — быть самому на месте строек, лично вмешиваться во все, что могло затормозить работу, принимать немедленные решения в случае чрезвычайных ситуаций. Такого руководителя трудно было застать в конторе, в особенности днем. Он много разъезжает, контролируя стройки. Добирается по бездорожью, по вязкой, засасывающей грязи — где на попутной машине, где верхом на лошади, а где и на своих двоих...

Он приобрел по случаю черный ямщицкий тулуп, довольно потертый, но зато теплый и с огромным воротом, прикрывающим голову при непогоде, и в этом тулупе да еще в шапке-ушанке, похожей на воронье гнездо, с усами и бородой, отросшими вольно от того, что некогда было бриться, напоминал скорей ушкуйника, чем инженера. Но при нем, однако, всегда была логарифмическая линейка, справочник «Хютте», блокнот и плотницкий карандаш, которым он, отдавая распоряжения, тут же чертил на листке бумаги поясняющий чертеж и делал быстрые расчеты.

Когда его заставал в пути буран, он поднимал воротник своего необъятного тулупа и скрывался в нем, как черепаха в панцире. Этот спасительный тулуп он прозвал «ротондой», он же служил ему и постелью, когда, заработавшись до поздней ночи, он оставался спать в конторе на столе или на сдвинутых стульях.

Неугомонный Петр Кириллович все же перетащил его в Новосибирск, подыскал там ему частную квартиру, но и тут он не изменил своему обыкновению — дома ночевал редко. В конторе Хлебопродукт, где он теперь работал, его можно было застать даже за полночь. Все давно ушли домой, а он все сидит над бумагами, двигает логарифмической линейкой, пишет. Поскольку завтра снова надо на работу, он и оставался тут спать, экономя время на дорогу. «Опять Мил-человек на стульях ночевал», — передавали друг другу уборщицы, которые заставляли его утром спящим в конторе. Говорили с жалостью и сочувствием, видя в нем неприкаянного какого-то. Мил-человек — так и укрепилось за ним это прозвище, которое и отражало эти чувства к нему добрых деревенских баб. Они его и уважали за то, что он был простым, не похожим на чванливых, со старорежимными хватками, старых инженеров.

Иногда он гостил у своих добрых друзей Горчаковых.

Там его встречали с неизменным радушием. И ему, отвыкшему от семьи, от домашнего уюта, казалось, что он, наконец, их обрел.

Они подолгу беседовали с Петром Кирилловичем. Того увлекала мысль о создании сверхмощной ветровой электростанции, такой, какой еще нет ни в одной стране.

— Ветер! — восторженно кричал Горчаков. — Это же совершенно даровая сила и по-настоящему еще пока не обузданная. Паруса, ветряные мельницы — это всего лишь жалкие попытки человека как-то приручить эту неисчерпаемую энергию, заставить работать на себя. Но теперь и эти попытки оставлены: пар, электричество, нефть и ее продукты вытесняют ветер. И он как бы мстит за это забвение: какие ураганы, какие смерчи проносятся над землей, сметая села, города, унося плодороднейший слой почвы... Нет, дорогой Юрий Васильевич, человек не может называться царем природы, пока он не заставит работать на себя ветер...

Юрий Васильевич и не возражал, слушая эти вдохновенные речи. Он только хотел знать, как можно практически оседлать ветер, сделать его разрушительную силу созидательной. Конечно, он слышал о ветроэнергетике, знал, что во многих странах, в частности в Соединенных Штатах, имеются ветроэлектростанции — главным образом небольшой мощности. Но Петр Кириллович говорил о ветроэлектростанции гигантской мощности, которая могла бы давать постоянную электроэнергию большой области, освещать ее села и города, приводить в движение станки на фабриках и заводах, плавить сталь, двигать поезда. Она должна иметь колоссальные размеры и быть расположенной в таком месте, где имеется постоянный и достаточно сильный ветер; сооружение может время от времени само поворачиваться, чтобы принимать наиболее мощные токи воздуха.

Это была очень сложная, почти невыполнимая задача. Но этим она как раз и увлекла Кондратюка, который уже давно привык мыслить космическими масштабами. Слушая Петра Кирилловича, он пробовал набрасывать на бумаге каких-то ушастых уродцев, «телами» их были островерхие мачты, а «ушами» — лопасти электротурбин, которые должны были приводиться в движение силой ветра. Потом либо обращал этот рисунок в цветок, либо рисовал вместо лопастей какие-то смешные рожицы, либо вовсе зачеркивал свое художество.

Он охлаждал пылкий поток речей Петра Кирилловича чисто практическими вопросами: как, где, когда, из чего строить, на какие деньги? Этим он приводил Горчакова в настоящее неистовство: тот называл его скептиком, ретроградом, сравнивал с учителем Беликовым из чеховского рассказа. Юрий Васильевич выслушивал все это с улыбкой и снова повторял: «Ну а все же?».

И в конце концов получалось так, что сам и предлагал решение, с которым, после некоторого сопротивления, и соглашался Петр Кириллович.

Ольга Николаевна посмеивалась над ними, наблюдая, как они спорят, вырывают друг у друга листок бумаги, что-то чертят на нем, доказывая свою правоту.

— Донкихоты вы, донкихоты! — говорила она. — Все с ветряными мельницами воюете.

— Замолкни, женщина! — театрально рычал Петр Кириллович. — Тут не мельницы — целая эпоха рождается!

А тем временем главный его труд, которому он отдал столько времени и сил, все еще лежал без движения. Рукопись, гордо озаглавленная «Завоевание межпланетных пространств», с разгромными заключениями экспертов Главнауки возвратилась, видимо, надолго. Ни горячая рекомендация профессора Ветчинкина, ни его предисловие к рукописи, которую Владимир Петрович считал наиболее полным исследованием в области космических полетов из всех, что выходили и в России и за рубежом, не помогли сдвинуть дело с мертвой точки: ни одно издательство не бралось издать эту книгу.

Он пытался представить себе того, кто пишет такие заключения. Ему казалось, что пишет их один и тот же человек — самоуверенный, невежественный, бездарный и поэтому проникнутый ненавистью ко всему новому и в особенности к тому, кто это новое творит. Он рисовал в своем сознании этого человека: вот он, лоснящийся, самодовольный, сидит за своим столом, одной рукой небрежно листает рукопись какого-то провинциального Кулибина, а другой держит стакан остывающего чая, время от времени прихлебывает из него и возмущенно поднимает брови — то ли оттого, что чай несладок, то ли оттого, что мысли автора кажутся ему несусветной чушью. И он, даже не дочитав до конца, пишет заключение.

До полемики с таким монстром Юрий Васильевич никогда бы не унился. Но с явлением, порождающим подобных экспертов, он считал, можно и нужно бороться. Принародно, в открытой форме!

И он задумал статью-фельетон под названием «Экспертиза», в которой надеялся вывести на чистую воду полужнаек, стоящих на пути прогресса. Неважно, где будет опубликована эта статья и будет ли опубликована вообще. Но он выскажет в ней все, что накопилось у него за все эти годы, чтобы не только те, кто считал беспочвенной фантазией его космический проект, но даже многоумные специалисты, предсказывавшие, что его Мастодронт рухнет, как поленица дров при сильном ветре или паводке, поняли, что не им быть судьями, что пора уступить место истинно знающим, компетентным специалистам.

Не откладывая дела в долгий ящик, принялся за работу.

Предпослал статье два эпиграфа. Один из них гласил:

«Члены Французской академии наук в свое время очень много смеялись над явной безграмотностью чудака, впервые предложившего делать паровозы только с гладкими, незубчатыми, колесами и только гладкие, без зубцов, рельсы для железнодорожной колеи».

Читатель теперь мог повеселиться над весельем почтенных французских академиков, поскольку с давних пор паровозы и поезда бегают на гладких колесах и по гладким рельсам и не валятся под откос при первом же повороте, как предполагали украшенные париками мудрейшие головы Европы, и, таким образом, совершенно конкретно подтверждалась пословица: «Смеется тот, кто смеется последним».

Далее следовало высказывание американского автомобильного короля Генри Форда:

«Когда я хочу организовать какое-нибудь новое для меня производство, я ищу смышленного молодого человека, который по возможности не знал бы о существующих старых методах в данной отрасли. Высококвалифицированный специалист всегда очень хорошо знает только одно: почему то или другое должно не выйти. Если бы я хотел погубить своих конкурентов нечестными средствами, то я бы подослал к ним тучи больших специалистов, и те парализовали бы всю работу».

После этого Юрий Васильевич начал горячо, с места в карьер:

«Наглая и невежественная самоуверенность в отрицании каждого вновь появившегося ростка науки и техники — это, к сожалению, не исключение, а едва не правило, и случай с рассмотрением такой нормальной и такой бесспорной системы передвижения, как движение паровоза с гладкими колесами по гладким рельсам, на которых мы все теперь ездим, является лишь одним из особо выразительных случаев среди нескончаемой вереницы подобных же других; это, впрочем, давно ни для кого не новость, и к подобным проявлениям все так привыкли, что считают их не только обычным, но, пожалуй, нормальным явлением, почти как первый закон Ньютона.

Но очень стоит вдуматься в несколько фраз, сказанных Фордом, и особенно учтя, что даже Форду пришлось сказать подобные фразы. О чем говорят сквозящая в них злость и горечь, резкость, доходящая до парадокса, и последовательность нескольких парадоксов, заставляющая задуматься над тем, в какой мере эти фразы являются парадоксами и вообще парадоксы ли это...»

Далее Юрий Васильевич привел «заклучения» подобных экспертов, которые они могли бы дать по проектам конструкций самолета, автомобиля, способа передачи изображений на дальние расстояния и даже устройства обыкновенной швейной машины, если бы они были предложены в свое время никому не известными изобретателями.

Конструктор швейной машины, например, получил бы такой ответ:

«Основным недостатком конструкции является весьма быстрое и резкое возвратно-поступательное движение ряда деталей, связанных с иглой и ее работой. В условиях подобной работы эти детали будут изнашиваться с нарушением точности их совместной согласованности, причем неизбежно будет расстраиваться остроумно задуманное попадание носика челнока в петлю, образуемую ниткой из игольного ушка, а с расстройством этой основной операции машина перестанет работать. Кроме того, делает практически невозможной работу машинки резкое, быстрое продергивание материи перед стальной рубчатой лапкой, которая будет портить материю...»

И так далее и тому подобное... Автомашина не будет двигаться, передача изображения на расстояние невозможна, аппарат тяжелей воздуха не сможет взлететь.

Подобный «эксперт» способен надолго задержать прогресс. Если следовать его заключениям, то человечество по сию пору жило бы в пещерах и добывало огонь ударами камня о камень.

Но что же делать, как помочь этой «экспертной беде»?

Конкретное предложение — ответственность.

«Пусть авторы предложений и изобретений серьезно отвечают за них. Если ты инициатор нового дела, ты должен узнать о нем все, что возможно: обеспечить достаточную ясность его результатов всеми средствами, какие вообще существуют, а в случае неудачи, непродуманности, прожектерства — за материальный ущерб, за засорение внимания ответственных органов ничемными вещами, за компрометацию изобретательства и технического новаторства ты должен отвечать по всей строгости, как за халатность к своим обязанностям. Все, серьезно к ним в этой области относящиеся, согласятся с нами...»

Необходимый разбег сделан. Крепко досталось ничемным прожектерам, обивающим пороги различных учреждений, отвлекающим внимание деловых людей своими пустопорожними выдумками. Теперь пора обрушиться всей силой на равнодушных, недобросовестных и некомпетентных экспертов.

«Но эксперт, специалист, дающий отзыв по новому предложению, должен отвечать также. И не столько отвечать в случае неудачи после положительного отзыва, так как неудача может быть от ошибок во второстепенных мелочах, вникать в которые обязан автор, не всегда в состоянии эксперт, сколь жестоко от...»\*

Здесь его срочно позвали к телефону. На одном из строящихся элеваторов произошел пожар, нужно немедленно выехать на место, выяснить причину и ликвидировать урон. Через полчаса он, уже укутанный в «ротонду», уехал на санях в дальний район.

А статья так и осталась недописанной. Впоследствии незаконченную фразу расшифровали так:

«...сколь жестоко отвечать должен эксперт за необоснованное отклонение дельного предложения».

---

\* Цит. по «Изобретатель и рационализатор», 1979. № 7.

Вернувшись из своей неожиданной командировки, он рассказал Горчакову о статье, которую пишет, просил посоветовать, куда ее можно послать. Петр Кириллович отмахнулся:

— А, ерунда все это — «жалобы турка», обычный скулеж неудачников, у которых что-то там запорол. Есть дела поважней. Почему бы нам не засесть вместе за проект ветроэлектростанции? Вот что сейчас современно!

— Интересно, конечно, но статья...

— Ой, да о чем вы говорите, милейший! В чем ваша боль? В том, что какие-то злыдни не хотят публиковать ваш труд о завоевании межпланетных пространств? Так вот, я вам обещаю, что книжка ваша будет издана, причем в ближайшее время. И не по щучьему велению, а по нашему хотению и с помощью хороших людей. Я найду пути. У меня есть знакомые в местном издательстве. Ведь в конце концов не так уж важно, где появится книга — в Москве или Новосибирске, важно, что она выйдет... Всё, всё! Эту ношу я беру на свои плечи... А теперь вернемся к моему предложению: как вы насчет нашего, говоря высоким стилем, творческого сотрудничества?

— Не знаю, право. Я привык работать в одиночку. Не представляю, как у нас получится...

— Да мы уже с вами работаем вместе, работаем! В одной упряжке. Разве не заметили?

— Честно говоря, нет. Какая же это работа? Так, собеседования.

— В таких собеседованиях и рождаются великие идеи! Времена гениальных одиночек-первопроходцев прошли, дорогой мой! Сейчас коллективы двигают прогресс. Ну вот мы и составим с вами такой маленький коллектив... Ну как?

Петр Кириллович порой представлялся Юрию Васильевичу локомотивом, который энергично и настойчиво влек его по неизведанному пути. Сопrotивляться ему было совершенно невозможно.

Между ними уже установились прочные партнерские отношения, хотя Юрий Васильевич все чаще замечал, что партнерство это далеко не равноправное и равнозначное. Идеи выработывались совместно, но воплощать их в расчеты и чертежи приходилось одному Юрию Васильевичу, причем Горчаков, порой в бесцеремонной форме, требовал, чтобы он «шевелился побыстрей».

— Давайте, Юрич, давайте! Упустим время, вся наша работа — псу под хвост!

Но зато уже готовый проект он проталкивал по инстанциям сам.

Вот этот напор и фамильярность, которая появилась с некоторого времени по отношению к нему Горчакова (обращение Юрич вместо Юрий Васильевич, некоторая барская небрежность, которая проскальзывала в слове «милейший»), заставляла Кондратюка думать, что Горчаков каким-то образом узнал его тайну. И это наполняло его душу тоскливым предчувствием. Неужели? Неужели однажды соратник выдаст его властям? Да нет. Этого быть не может! Просто у Петра Кирилловича характер такой. И потом уж очень ласково сияют ему навстречу глаза Ольги Николаевны. Такие глаза обманывать не могут...

Он и сам не заметил, как стал с о а в т о р о м Петра Кирилловича, хотя, если говорить точно, Горчаков стал его соавтором. С тех пор их имена стали появляться рядом в статьях, печатаемых в технических журналах, в заявках на изобретения.

Наконец, свершилось! Свершилось то, к чему он так долго и вожделенно стремился с юношеских лет. В его руках были несколько тоненьких книжечек-брошюр, изданных на плохой бумаге, в серой мягкой обложке. Это были авторские экземпляры его книги «Завоевание межпланетных пространств». На обложке был изображен земной шар, обвитый петлей траектории взлетающей в космос ракеты. Внизу — мелким шрифтом: «Издание автора. Новосибирск, ул. Державина, 7. 1929 г.». Тираж — две тысячи экземпляров. Все скромно и даже мизерно. Но он готов был целовать эту книжечку и плясать от радости, как дикарь с Новой Гвинеи.

Петр Кириллович сдержал свое слово. Он свел его с редактором местного издательства — мудрым и многоопытным специалистом своего дела, который быстро и доходчиво объяснил ему, что к чему, что почем и как надо действовать.

— Я прочитал вашу рукопись,— сказал тот, пряча глаза за толстыми стеклами очков.— С научной точки зрения — не могу судить... Но интересно, чрезвычайно интересно, хотя вряд ли современно, верней, своевре-

менно... Похоже на фантазию, а стране, как вы понимаете, сейчас не до фантазий. Страна занята строительством социализма, перед нами сейчас стоят реальные и вполне конкретные задачи... Это я вам, голуба, говорю не для того, чтобы просвещать вас, учить политграмоте, а чтобы подвести к главному выводу: на государственные средства при издании этой книги рассчитывать нечего. Эрго\*, надо издавать за свой счет, а для этого нужно...

Редактор выразительно потер большим пальцем об указательный.

— Сколько?— спросил Юрий Васильевич.

— А сейчас мы подсчитаем... Какой у вас объем? На какой тираж рассчитываете?.. Так. Бумага, набор, печать, прочие расходы.

Редактор пощелкал костяшками счетов и назвал сумму.

Юрий Васильевич охнул. Придется снять все деньги с книжки, накопленные изобретательством и строжайшей личной экономией, прибавить к этому свой месячный заработок. Да еще и не хватит, придется у кого-то одалживать.

Но раздумывать было некогда. Редактор намекнул, что пока еще есть возможность протолкнуть частный заказ через типографию Сибкрайсоюза, но вскоре эта возможность может уплыть — времена, знаете ли, меняются, словно узоры в калейдоскопе. Да еще надо кое-кого отблагодарить за скорейшее прохождение заказа... Пришлось согласиться — иного варианта в обозримом будущем не предвиделось.

В этот же день Юрий Васильевич встретился с Горчаковым и попросил у него денег взаймы.

— Эх, эх!— повздыхал Петр Кириллович.— Грабите вы меня. Только что собрал себе на костюм и жене на платье. Ну да берите, что делайте! А то обвинят меня будущие историки — дескать, затормозил движение прогресса.

— Но я отдам, скоро отдам...— смущенно бормотал Юрий Васильевич.

— Ладно уж, Крёз доморощенный. На том свете угольками сочтемся, как говорится...

Не прошло и месяца после этого разговора, и тоненькая, словно блин, книжечка легла на ладони автора.

\* Следовательно (лат.).

Юрий Васильевич никогда не был отцом, а тут ощутил настоящий трепет отцовства.

И один из первых экземпляров книги он послал в Калугу к Циолковскому с такой надписью:

*«С почтением, пионеру исследования межпланетных сообщений.*

*От автора Юр. Кондратюка».*

Именно так — «пионеру», значит, первому, чтобы не было впоследствии бесполезных и никому не нужных споров о том, кто первый сказал «а».

Две тысячи экземпляров разлетелись мгновенно. Мир проглотил серую невзрачную книжечку, словно крокодил муху, и занялся более крупными, серьезными делами.

А дела были прямо-таки вселенского масштаба. В стране шла коллективизация. Сопротивлявшихся ей отправляли эшелонами на Соловки и в прочие отдаленные места, чтобы они, как писали в газетах, не мешали строительству социализма и не порождали ежедневно в массовом масштабе капитализм. Вместе с зажиточными усылали и середняков, особо тех, у которых язык был подлинней, кто не желал добровольно объединяться в колхозы, — таких называли подкулачниками. Развертывалась вся индустриализация страны, которую надо было за короткий срок превратить из страны аграрной в аграрно-индустриальную. Строились Турксиб, Магнитка, Днепрогэс. Но этому всему мешали остатки недобитых классов, особенно вредители в лице получивших образование еще при царизме инженеров и техников. Они, по утверждению газет, устраивали пожары на шахтах, крушения поездов, взрывы на только что построенных заводах.

«Если враг не сдается, его уничтожают», — уже появился лозунг, наводивший страх на одних и желание приспособиться, отсидеться — у других.

Уничтожение пошло полным ходом. ГПУ в эти дни хватало работы. Вылавливали и тайных и явных врагов, а также тех, кто знал об их существовании, но не донес вовремя карающим органам.

Юрием Васильевичем овладело гнетущее чувство тревоги. Идут проверки, перепроверки документов, особое внимание уделяется прошлому, социальному происхождению. А вдруг как докопаются, что он живет под чужой фамилией, по чужим документам? Страшно даже подумать, что произойдет: в лучшем случае, не дадут паспор-

та — в стране шла паспортизация, — сошлют куда-нибудь за Полярный круг, а в худшем, если заподозрят во вредительстве, — «шлепка» или «вышка», как называют уголовники расстрел на своем жаргоне.

Он чувствовал, что ходит теперь даже не по канату, а по лезвию бритвы. В конторе он уже перестал ночевать, чтобы не возбуждать лишних подозрений, а дома, на Нерчинской, ночи лежал с открытыми глазами, все прислушивался к шагам по тротуару, особенно когда шли несколько человек — не за ним ли?

Но случилось невероятное, чего он никак не мог ожидать.

Придя однажды к Горчаковым, чтобы вернуть деньги, взятые на издание книги, он застал дома одну плачущую Ольгу Николаевну.

Она сидела за столом, прикрыв лицо руками, плечи ее мелко дрожали. В квартире, где всегда царили образцовые чистота и порядок, все было перевернуто вверх дном.

— Что случилось?! — вырвалось у Юрия Васильевича.

— Петра... — глухо сказала Ольга Николаевна. — Петрушу... Сегодня ночью арестовали.

— За что?!

Ольга Николаевна беспомощно пожала плечами.

Деньги она не хотела брать, говорила, что теперь они ей не нужны, потому что ее жизнь кончена, а он принялся горячо уверять ее, что ничего еще не кончено, что все это недоразумение, которое скоро разъяснится, и Петр Кириллович вернется скоро домой, деньги же пригодятся для того, чтобы помочь ему пока что с питанием, потому что т а м кормят, мягко говоря, не очень сытно.

И она взяла деньги да еще поцеловала его в щеку за утешение.

— Вы теперь у меня единственная опора, — сказала она...

Впрочем, через день и он получил повестку с предложением явиться к следователю. Это был всего-навсего вызов, а не арест, но Юрий Васильевич почувствовал недоброе и приготовился ко всему — взял с собой в портфеле харчей, чистую пару белья.

В учреждении, куда он пришел, были длинные, выкрашенные серой краской коридоры с множе-

ством одинаковых дверей, над которыми значились только номера. Отыскал нужную дверь по номеру, постучал.

— Да!— послышался из-за двери резкий, как выстрел, возглас.

Вошел. Молодой человек сидел за столом спиной к окну, вытянув чуть ли не во всю длину комнаты ноги в армейских ботинках с обмотками.

Юрий Васильевич положил ему на стол повестку.

— Так,— сказал следователь. Глянул на повестку, потом на вошедшего, и тут только Юрий Васильевич смог разглядеть его лицо — губастое, с реденькими усиками и по-восточному узкими глазами.— Садитесь, чего стоять.

Жестом указал на стул, прислоненный к столу.

Потом стал проделывать таинственные операции: вынул из стола краюху хлеба, откусил от нее, запил водой из графина, сунул недоеденный кусок обратно. Затем из этого же ящика вытащил наган, сверкающий, очень хорошо начищенный, придиричиво осмотрел его со всех сторон и положил перед собою на стол. Вынул вслед за этим папку, развернул ее, принялся читать и читал довольно долго, шевеля пухлыми, как перезрелые вишни, губами.

И вдруг резко, как будто выстрелил в упор:

— Фамилия?

Юрий Васильевич неуверенно ответил, ожидая, что вслед за этим последует: «А настоящая?» Но такого вопроса не было. Следователь продолжал спрашивать: когда родился? где? кто родители? социальное происхождение? где был в гражданскую войну?

«Вот оно,— подумал Юрий Васильевич.— Подводит базу. Дает возможность громоздить одну ложь на другую, чтобы потом одним подсечным ударом...»

Но он продолжал говорить то, что было написано им в анкете, что заполнял, когда поступал на работу в контору Союзхлеб, которая теперь называлась по-другому — Союзмука. Холодный пот проступил у него на лбу. Он чувствовал, что идет ко дну.

И тут следователь захлопнул папку, в которую заглядывал, сунул ее в стол, туда же отправил и наган, вынул снова кусок хлеба, пожевал, глядя на Юрия Васильевича затуманенными, усталыми, но без тени вражды глазами. Наконец, спросил:

- Вы знаете, зачем вас сюда вызвали?
- Понятия не имею.
- Так уж и не имеете... А с гражданином Горчаковым Петром Кирилловичем знакомы?
- Как же... Вместе работаем...
- Работали,— уточнил следователь.— А что вам известно об антигосударственных делах и высказываниях упомянутого Горчакова?
- Да ничего я не знаю такого... Мы работаем... то есть работали вместе. В последнее время были заняты изобретением мощного электродвигателя для ветровой электростанции. Он представляет собой...
- Хватит!— оборвал его следователь.— Вы мне баки тут не забивайте. Говорите дело. Работая с Горчаковым, вы не могли не знать о его вредительской деятельности, в которой он сам сознался. Отвечайте: побуждал ли он вас или других своих коллег вносить в проекты зерноскладов и элеваторов такие изменения, которые в дальнейшем приводили бы к авариям, порчам зерна?
- Но это нелепо... Как можно... Горчаков — честный инженер.
- Это с вашей точки зрения. А вы знаете, что он дворянин и скрыл от советских органов свое происхождение, благодаря чему пролез на руководящую должность? Если вы знали об этом и молчали, значит, одного поля с ним ягоды...
- Как вам угодно... Если вы так считаете, то не о чем меня спрашивать. Судите меня...
- И будем судить, если надо! Вы нам не указывайте!
- Следователь хлопнул при этом ладонью по столу, но, странное дело, в крике его не было злости, он выкрикнул механически, без интонации, как актер, повторяющий на «прогоне» давно заученную реплику.
- Затем продолжал, уже более ровным голосом:
- Можем привлечь вас как пособника и укрывателя врага народа, дать срок за недонесение — есть для этого статья... Так что советую все припомнить и высказать начистоту: какие вредительские указания давал вам Горчаков, ваш непосредственный начальник, где и когда вы от него слышали высказывания, враждебные нашему строю?
- Ничего подобного не слышал. Горчаков — честный инженер,— стоял на своем Юрий Васильевич.

— Что ж, вам придется посидеть, подумать, чтобы припомнить.

Следователь нажал на кнопку звонка. На пороге вырос милиционер.

— Увести!

Портфель со сменой белья и харчами пригодился.

Сидя в камере предварительного заключения, Юрий Васильевич вспоминал, шаг за шагом, всю историю своего знакомства и сотрудничества с Горчаковым, которого он должен был называть отныне не иначе, как «гражданином». И, сколько ни силился, ничего не мог припомнить такого, что могло бы показаться антисоветским, враждебным словом или действием.

Правда, Петр Кириллович любил порассуждать о великой роли технической интеллигенции в развивающемся обществе. Особенно горячо и громогласно распространялся об этом во время многочисленных вечеринок, которые часто устраивались на квартирах у него или у других сотрудников конторы. Собирались за столом, семейно. Повод всегда находился — именины, дни рождения, крестины, октябрины, советские и церковные праздники.

После второй или третьей рюмки Петр Кириллович, несмотря на умоляющие взгляды Ольги Николаевны, садился на своего любимого «конька».

— Мы — инженеры! — возглашал он, похлопывая по накрахмаленной манишке. — Мы — элита общества, его духовная квинт-эссенция. Мы — наследники Леонардо да Винчи, который был прежде всего инженер, а потом уже — художник и скульптор...

Оканчивал свою длинную и несколько запинаящуюся речь тостом:

— Выпьем же за технический прогресс и за его двигателей — инженеров! Ура!

И собравшиеся, звеня рюмками, дружно подхватывали:

— Ура-а-а!

Все было пристойно и весело.

Юрий Васильевич лишь посмеивался, считая подобные тосты завихрением, чудачеством талантливого человека, каким он искренне считал Горчакова. Сам он спиртного не пил, лишь пригубливал из своего стакана лимонад и, поскольку у него весь вечер была свежая

голова, мог поклясться, что ничего особенного во время этих застолий не происходило.

Но в конце 20-х годов газеты запестрели сообщениями о процессах над вредителями, которые устраивали взрывы на шахтах, выводили из строя станки и другие машины. В числе вредителей были в основном представители старой технической интеллигенции, те инженеры, имена которых с почтительным придыханием произносил Горчаков. Он даже сказал однажды, в сильном подпитии, что лишь инженеры должны стоять во главе государства, поскольку только они знают, что нужно обществу для его развития.

После шахтинского дела, особенно процесса над промпартией, он как-то слинял, притих — видимо, кто-то предупредил его, что это может плохо для него кончиться.

И действительно, мощная взрывная волна, поднятая этими процессами, катилась, катилась и дошла до сибирских мест. Здесь тоже начали искать своих вредителей, — потому что безобразия продолжались и на производстве, и в сельском хозяйстве, и на стройках, — и нашли, конечно. Аварии, неполадки со снабжением, пожары — все стали относить на счет вредителей. Добрались и до Горчакова с его «крамольными» высказываниями — один из привлеченных по делу о вредительстве решил облегчить свою участь доносом. От него потянулась ниточка к Юрию Васильевичу и к другим сотрудникам конторы. Кто-то из них «чистосердечно признался», но другие, как Юрий Васильевич, твердо отрицали наветы.

Состоялся суд, и Юрий Васильевич вместе с другими сотрудниками конторы был приговорен к лишению свободы. Несколько лет предстояло провести за колючей проволокой. Казалось, прощай навек не только свобода, но и все проекты, которым он отдавал душу и сердце все эти годы. Прощайте, серебристые космические корабли, далекие планеты, на которые ему так и не удастся ступить (а ведь он мечтал об этом!), прощайте, электрические чудо-птицы на холмах, которыми он собирался украсить всю Россию!

Но прощаться, как выяснилось вскоре, было рано. Все инженеры и техники, осужденные по этому «делу»,

оказались в проектном бюро № 14 ОГПУ, расположенном в Новосибирске. Правда, бюро это было за колючей проволокой, но в нем нужно было делать примерно то же, что и на воле,— строить. Тут он и встретил снова своего соавтора — небритого, потерявшего свежесть в одежде, но по-прежнему бодрого и полного сил. Приободрился же он после того, как узнал, что ему не грозит «вышка», а только отсидка.

Он даже пропел шутливо, коснувшись щеки Юрия Васильевича своей кактусообразной бородой:

Очутился я в Сибири,  
В шахте темной и сырой.  
Здесь я встретился с друзьями,  
Здравствуй, друг, и я с тобой!

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### Ловцы ветра

Они оказались вместе за колючей проволокой. Но им не пришлось, как иным заключенным и в другие времена, влачить кандалы, выполнять каторжную работу и с тоской ожидать вожделенного дня освобождения. В эти годы за решетку попало очень много высокообразованных, научно и технически одаренных людей, и государство поступило весьма практично, объединив их в проектные, изыскательские конторы (которые на языке эзков получили название шарашек), где они занимались тем, собственно, чем и на воле: изобретали, проектировали, вели научную работу, внося под недреманным наблюдением надзирателей в форме свой вклад в индустриализацию страны.

Именно в это время Юрий Васильевич и Петр Кириллович выполняют несколько важных совместных изобретений. Уже через год после ареста они подают заявку на изобретение башенного железобетонного копра и получают авторское свидетельство; в ноябрьском номере «Горного журнала» за 1931 год появляется их совместная статья «Применение бетона высокого сопротивления к постоянной крепи шахтных стволов» и здесь же — описание железобетонного копра башенного типа, выполняемого в подвижной опалубке. В начале 1932 года

во втором номере «Горного журнала» печатается снова статья за их двумя подписями — «Проходка шахт с механизацией опалубной, бетонной и породоборочной работ».

И мало кто из читателей этого уважаемого технического журнала знал, что работы эти выполнены «во глубине сибирских руд» и авторы их являются эками, то есть заключенными конвоируемыми.

За два года, которые они провели в заключении, Кондратюк и Горчаков стали настоящими горными инженерами. Но находили время и для работы над проектом мощной ветровой электростанции. Подстегнуло их то, что в 1932 году они узнали о конкурсе, объявленном Центральным энергетическим советом Наркомата тяжелой промышленности, на проектирование ветроэлектростанций мощностью 5—10 тысяч киловатт.

— Это ветер в наши паруса,— сказал Петр Кириллович.

В августе 1932 года они вышли на волю, отбыв срок наказания,— реабилитация пришла значительно позже. И сразу же принялись за окончательное оформление проекта мощной ветроэлектростанции. Горчаков поступил работать, как он об этом и мечтал, в Запсибэнерго, а Юрий Васильевич, как раньше, стал трудиться в объединении Союзмука инженером по механизации. Петр Кириллович убедил Кондратюка, что им, в интересах скорейшего завершения конкурсного проекта, надо работать под одной крышей, и заставил его написать в адрес директора Союзмуки весьма резкое по тону, категорическое заявление:

«Довожу до В. сведения, что с сего числа я перешел на работу в Запсибэнерго ввиду того, что:

1. Мое использование в Союзмуке идет совершенно не по специальности — на составление спецификаций на материалы и в дальнейшем предполагалось направить меня на длительные объезды мельниц для составления ремонтных и реконструктивных смет, тогда как я сметной работой никогда в жизни не занимался.

2. Назначенный мне Вами оклад 325 р. совершенно не соответствует моей квалификации.

3. С Запсибэнерго я связан работой по проектированию ветроагрегата, каковая при моей службе в Союзмуке всегда была бы под угрозой срыва вследствие командировок — работа же эта имеет весьма крупное значение.

Несданных работ по Союзмуке за мной не числится». Послание это писалось, конечно, под диктовку Петра Кирилловича, который буквально нависал над Юрием Васильевичем, отмечая все его робкие возражения — особенно Кондратюка смущал несвойственный его характеру второй пункт, но Горчаков требовал сохранить все, даже стилистические несообразности. «Так скорей отпустят».

И действительно, отпустили.

Теперь уже работа над проектом ветроэлектростанции — а друзья решили ее спроектировать мощностью в 12 тысяч киловатт, какой еще не было в мире,— двинулась вперед семимильными шагами.

Они по-прежнему собирались на квартире Петра Кирилловича, но теперь это были уже деловые встречи, без всяких излишеств застолья. Работали так: Юрий Васильевич выдвигал идею, Петр Кириллович с ходу принимался ее оспаривать. Делал это настолько азартно, что спор у них доходил порой до личных оскорблений. Юрий Васильевич был более сдержан, он старался убедить своего горячего партнера фактами, цифрами. Постепенно тот успокаивался, бормотал: «Тут что-то есть», и начиналась уже конструктивная разработка.

Ольга Николаевна, похудевшая за годы вынужденно-го одиночества и оттого еще больше похорошевшая, счастливыми глазами смотрела на них, склоненных над ватманом, и незаметно подсовывала им чай или кофе с бутербродами.

— Что мы творим! Что мы творим! — иногда в экстазе восклицал Петр Кириллович. — Это же крылатая Эйфелева башня!

Юрий Васильевич молча улыбался, слыша это восторженное определение. Но ветроэлектростанция действительно обещала быть грандиозной. На последней стадии завершения первого варианта проекта к ним присоединился молодой инженер Николай Васильевич Никитин, впоследствии — создатель Останкинской телебашни в Москве.

Он так описывал этот проект: «Ветроэлектростанция... состояла из железобетонного трубчатого ствола, который коническим основанием опирался на масляный подпятник. Ствол имел высоту 150 м. На высоте 120 м на стволе был сделан консольный воротник из железобетона. По этому воротнику прокатывался поезд из тележек

с вертикальными и горизонтальными колесами. На этом поезде лежали три наклонные расчалки, удерживающие ствол в вертикальном положении, допуская его вращение вокруг вертикальной оси, чтобы повернуть сооружение по направлению ветра. На вершине ствола установлено машинное помещение с генератором и ветроколесом с четырьмя лопастями диаметром 80 м»\*.

В Москве медленно, скрупулезно изучали проект ветровой электростанции, предложенной сибирскими инженерами. Все члены жюри всесоюзного конкурса сошлись на том, что он — лучший из всех представленных и наиболее осуществимый.

Об этом и доложили народному комиссару тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе.

— А где сами авторы проекта? — спросил нарком.

Ему сказали — авторы в Новосибирске, но они... как бы это сказать... подмочены слегка, недавно из заключения. Можно ли им еще выезжать в столицу — надо выяснить.

Нарком, человек решительный, распорядился:

— Вызвать немедленно!

Как встречали авторов проекта в столице, как и о чем они разговаривали на приеме с самим наркомом Орджоникидзе, история таких подробностей не сохранила. Однако через несколько дней после этого разговора они, принаряженные в новые шляпы и костюмы, купленные в московских магазинах, уже ехали в международном вагоне в Харьков. Там, в институте промэнергетики, им предстояло возглавить группу по проектированию Крымской ветроэлектростанции. Она должна была возвышаться на вершине Ай-Петри. В ее основу был положен проект сибирских инженеров, но его надо было еще предварительно доработать. Кроме того, как выяснилось, в Харькове уже разрабатывался другой, параллельный проект, и какой из них окажется лучше, надо еще выяснить — может, придется сочетать кое-какие детали обоих проектов.

---

\* Никитин Н. В. Воспоминания о Ю. В. Кондратьеве. М., 1972.

Работы предстояло много, предвиделась нелегкая борьба, но Петр Кириллович был настроен оптимистически — он был уверен, что победит в конечном счете их детище.

— Мы всех раздавим, как щенят! На Ай-Петри будет стоять наша станция!

— Что значит «наша»? — вяло возражал Юрий Васильевич. — Напишут на ней, что ли, что ее соорудили по проекту Горчакова и Кондратюка? И что это нам даст?

— Чудак вы, Юрич! Что даст? Деньги, славу! Поездки за рубеж, где также начнут строить такие станции по нашему проекту! Нам дадут свое конструкторское бюро! Чуете?

— А ну вас! — отмахивался Юрий Васильевич и поворачивался лицом к стенке на своем диване.

Ему хотелось выспаться за столько бессонных ночей, чтобы приобрести бодрость перед новой и, как он предчувствовал, нелегкой работой.

А Петр Кириллович тем временем развивал бурную деятельность. Он выбегал почти на каждой большой остановке, нырял под колеса стоявших у станции поездов, устремляясь к базарчикам, где на дощатых столах громоздились горы всякой снеди. И он тащил охапками в вагон зеленые хвосты лука, розово-рубиновые кругляши редиски, нанизанные за палочки гроздья черешни. У него развился зверский аппетит, особенно на продукты, которых в Сибири в эту пору даже во сне не видят.

— Ешьте! — командовал он Юрию Васильевичу, сваливая всю эту груды на стол. — Нам надо быть толстыми и веселыми, нас ждут большие дела.

Но у Юрия Васильевича аппетит был ниже среднего. Он брал лишь какое-нибудь перышко лука и жевал рассеянно, глядя в окно.

— Все о ракетах своих мыслите? — догадывался Петр Кириллович. — Бросьте! Ветер, ветер — вот теперь наша родная стихия! Как это у поэта сказано: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч»? Могуч — верно сказано! Отныне мы с вами, Юрич, ловцы ветра, ха-ха!

Юрий Васильевич кисло улыбался. Работа над проектом самой мощной в мире ветровой электростанции хотя и увлекала его своим дерзким размахом, но тем не менее отвлекала на время от основного дела своей жизни, каким он считал разработку теории полетов в межзвездное пространство. Порой ему казалось, что все

почти готово — надо сделать всего лишь шаг для того, чтобы первая ракета вырвалась в космос. И он опасался, что, пока он тут пытается взнудать ветер, где-то за рубежом сделают этот первый шаг, и опять его Родина окажется в хвосте прогресса. Эта мысль его чрезвычайно беспокоила; и он высказал ее в своем предисловии к книге «Завоевание межпланетных пространств», сообщив, что он воздерживается от публикации всех результатов своих исследований, поскольку они настолько близки к практическому осуществлению, что могут быть использованы за рубежом, во вред нашей стране.

А о том, что полет человека в межзвездное пространство осуществим даже в ближайшем будущем, он писал еще в своей юношеской работе, «Тем, кто будет читать, чтобы строить».

Это было в 1919 году. А шел год 1933-й...

В Германии поднимал голову фашизм. В кресло рейхсканцлера, по протекции одряхлевшего президента Гинденбурга, уселся Адольф Гитлер, вождь рвущихся к власти национал-социалистов — фюрер, как они его почтительно называли. Нацисты мечтали о реванше за поражение в первой мировой. Они не только желали увидеть Германию в прежних, довоенных, границах, но мечтали раздвинуть их дальше, дальше. «Сегодня Германия — завтра весь мир!» — гремели трубы их репродукторов. По Мюнхену, Берлину вились огненные змеи факельцугов, крутились пылающие свастики, по Цеппелинплатц гусиным шагом, вытянув вперед и вверх правые руки, маршировали будущие гвардейцы фюрера, «молодые звери», которым предстояло завоевывать мир, и фюрер приветствовал их тем же древнеримским приветствием — поднятием вперед и вверх правой руки. И все чаще и громче звучал призыв: «Дрангнах Остен!»\*

Уж куда расширяться в первую очередь будущей великой Германии — так это на восток. Там — немеренные просторы, неслыханные богатства, там — Россия, которую надо было поставить на колени.

Но для этого нужно было оружие, много оружия, и самого первоклассного. Боевые ракеты, способные

---

\* «Вперед на Восток!» (нем.)

пролетать сотни, тысячи километров и точно поражать цель, весьма пригодились бы гитлеровскому рейху.

Читая газеты, слушая радио, глядя кадры кинохроники, показывающие нацистские парады, Юрий Васильевич ощущал сосущее чувство тревоги: а что, если ОНИ доберутся до ракет? Ведь космические «снаряды», о которых он писал в своей книге, проще простого превратить в снаряды земные, причем обладающие невероятной убойной и разрушительной силой.

Успеть бы опередить их, успеть!

Но надо было еще построить Крымскую ВЭС.

Харьков, тогдашняя столица Украины, встретил изобретателей веселым перезвоном трамваев, но целеустремленной деловой суетой.

В институте промэнергетики их уже ждали. Уполномоченный Наркомата тяжелой промышленности при Совнаркоме УССР Петровский, уведомленный Орджоникидзе о прибытии инженеров, дал указание принять их со всей возможной теплотой и немедленно включить в работу.

С первых шагов стало ясно, что проекту Крымской ВЭС придается первостепенное значение. Для работы над ним было создано две группы — одну из них курировал академик Г. Ф. Проскура, другую возглавляли вновь прибывшие инженеры. Какая это была работа, какой энтузиазм кипел вокруг этих почти фантастических по тем временам проектов, рассказывал Л. А. Лифшиц, один из сотрудников харьковской группы Кондратюка, тогда совсем еще молодой инженер: «Когда сейчас... вспоминаешь ту большую расчетно-конструкторскую работу, которая была проведена... нашей небольшой группой, то просто удивляешься, какие свежие головы были у нас тогда, с каким энтузиазмом мы работали. Но особенно восхищаешься талантом и энергией Юрия Васильевича... которой всегда поражал нас глубиной своих знаний в самых различных науках: математике, физике, механике, аэродинамике, электротехнике, химии, теории упругости, строительном деле. Он прочно усвоил основные принципы каждой науки и свободно ими оперировал. В то же время он не стеснялся признаться, если что-нибудь не знал. Юрий Васильевич... не боялся новых, совершенно неожиданных путей... избегал применения

в расчетах готовых формул и выводил их самостоятельно-но, исходя из основных научных законов...»\*

Юных инженеров, вчерашних студентов, поражало и то, что Юрий Васильевич на технических советах института осмеливался вступать в спор с «самим» академиком Георгием Федоровичем Проскурой. И как правило, одерживал победы в споре. Академик, естественно, отстаивал тот проект, который разрабатывала его группа, но постепенно вынужден был сдавать одну позицию за другой под горячими полемическими ударами этого странного взъерошенного инженера из Новосибирска, не имеющего никаких ученых степеней и званий.

В конце концов восторжествовал именно проект Кондратюка. После научной экспертизы проекта в Ленинграде, где эта работа получила высокую оценку, нарком Орджоникидзе распорядился отпустить необходимые средства на рабочий проект Крымской ВЭС. Создавалась проектно-построечная контора ВЭС. Возглавил ее Горчаков, заместителем его стал Кондратюк.

Это означало, что строительство начинается...

И опять червячок принялся точить сердце Юрия Васильевича: по тому ли пути он идет, тем ли делом занимается?

То есть дело было важное, грандиозное и сверхнужное, им можно было бы гордиться всю остальную жизнь, но... в стороне оставалось нечто такое, не завершив которое, будешь чувствовать себя человеком, зря топтавшим землю.

Он все чаще вспоминал о разговоре, состоявшемся в Москве перед самой поездкой в Харьков с инженерами ГИРДа — так называлась группа по изучению реактивного движения, созданная молодыми учеными и конструкторами, которую возглавил Сергей Королев, будущий Главный конструктор советских космических кораблей.

Заведение с таким громким названием (впрочем, остряки расшифровали это название по-другому — «группа инженеров, работающих даром») ютилась в подвальной помещении дома на Садовом кольце. Ребята

---

\* *Лифшиц Л.* Человек глубокой творческой мысли // Сибирские огни. 1960. № 3.

из этой группы — действительно энтузиасты, работавшие даром, в свободное от своей основной службы время, — уже много месяцев безуспешно пытались поднять в воздух сконструированную ими ракету — все их аппараты то не взлетали, то взрывались через несколько секунд после старта. Узнав, что в Москве находится автор книги «Завоевание межпланетных пространств» (оказывается, в их руки попала эта книга), попросили через В. П. Ветчинкина, чтобы Юрий Васильевич заглянул к ним.

И он пришел. Увиденное там заставило по-юношески часто биться его сердце. Эти хлопцы, практически собственными руками, пытались сделать то, о чем он только мечтал и писал. Он увидел их ракету, похожую на средней величины торпеду, прикоснулся к ней пальцем, ощутил холодок металла и понял, что перед ним действительно зародыш того могучего корабля, который когда-то полетит в межзвездное пространство. Он готов был тотчас засучить рукава и взяться вместе с ними за работу. Мало того, он услышал лестное предложение Сергея Королева включиться в группу, заменить в ней недавно умершего Фридриха Артуровича Цандера, их главного теоретика. Он выслушал, рванулся всем сердцем к этому делу и... отказался. Отказался наотрез.

Сергей Павлович Королев сожалел об этом, но еще больше сожалел и сам Кондратюк.

Потом возникло много домыслов по поводу мотивов этого отказа, который действительно в какой-то степени замедлил развитие ракетной техники в стране. Как много бы мог дать союз Циолковский — Королев — Кондратюк! Но он так и не состоялся.

Считают, что Кондратюк просто испугался. Чего испугался? Надо было заполнять новые анкеты, отвечать на неудобные вопросы, проходить опасные проверки. Вскрылось бы, что он давно живет под чужой фамилией и так далее. А в Наркомтяжпроме ему верили, его прочно защищал авторитет Орджоникидзе. Зачем же снова искушать судьбу? Может быть, были у Юрия Васильевича и такие мысли. Но, вероятно, не это в конечном счете повлияло на его решение: он не мог обмануть доверие наркома, который дал ему невиданное по размаху дело, и Юрий Васильевич считал своим долгом довести прежде всего это дело до конца. Увидеть на вершине Ай-Петри свое крылатое детище и тогда... он тоже — вольная птица!

Весной 1934 года в «Правде» появилось сообщение о том, что на вершине Ай-Петри в Крыму сооружается ветроэлектростанция на 12 тысяч киловатт. Авторы ее — два харьковских инженера. Описывались грандиозные размеры станции, ее впечатляющие технические данные.

Новость эта потрясла умы, в особенности крымчан и гостей солнечного полуострова. Сложив ладони козырьками, они поглядывали с песчаных пляжей на вершину горы, надеясь увидеть на ней чудо XX века, но вершина была окутана курчавыми облаками, а когда облачная завеса расходилась, то перед взорами, даже усиленными биноклями, представала пустынная площадка.

Естественно, с такого большого расстояния не было видно двух человек, которые стояли на вершине и любовались расстилавшимися перед ними картинами. Петр Кириллович и Юрий Васильевич приехали на место будущей стройки.

— Ах, друг мой! — растроганно говорил Горчаков. — Посмотрите вокруг, какая красота повсюду разлита! Как прекрасна жизнь, и мы должны сделать ее еще лучше...

Петр Кириллович переживал, несомненно, лучшую пору своей жизни — наслаждался почетом и свободой, вдыхал полной грудью целительный крымский воздух, купался в море и загорал, когда они выезжали на побережье, смаковал ароматную продукцию «Массандры», и вообще чувствовалось, что был бы не прочь, чтобы стройка продолжалась хоть сто лет.

Юрий Васильевич был настроен менее восторженно. Его беспокоили чересчур медленные темпы работ. По существу, было выбрано только место для подпятника — фундамента башни, на холме Бедене-Кыр, в четырех километрах к северу от Зубцов. Яму под фундамент только начали рыть, и делалось это с многочисленными остановками и перекурами.

— А куда торопиться? — весело покрикивал Петр Кириллович в ответ на сетования Юрия Васильевича. — Оборудование-то все равно вовремя не поступит... А поступит — поторопимся. У нас, русских, ведь как? Медленно запрягаем, зато быстро едем. Н-н-оо!

И он потряхивал вытянутыми руками, изображая лихого ямщика.

В Крым из Харькова приехала Ольга Николаевна, и они поселились втроем в маленьком белом домике у под-

ножия горы. Петр Кириллович радовался семейному счастью, вместе с ним поддавался размягчающему душу довольству и Юрий Васильевич. С каждым месяцем его связь с этой семьей становилась все прочнее, он чувствовал, что уже неотделим от нее.

По вечерам они сидели на веранде домика, слушали отдаленные звуки моря, металлический звон цикад на окружающих холмах, и казалось, что это переговариваются между собой низко висящие над землей звезды.

Юрий Васильевич рассказывал, как однажды люди полетят к другим планетам и начнут там новую счастливую жизнь. Рассказывал с подробностями, детально, как будто сам только что вернулся из такого полета.

Петр Кириллович скептически помалкивал, жевал яблоко или пощипывал виноград. Зато Ольга Николаевна была вся благоговейное внимание. И даже в темноте было видно, как ласково блестят ее глаза.

Как выяснилось в дальнейшем, им надо было торопиться. И очень. В феврале 1937 года радио принесло скорбную весть — умер Серго Орджоникидзе, чьей волей и энергией поддерживался проект самой мощной в мире ветроэлектростанции. Вскоре после его смерти этот и многие другие проекты индустриальных гигантов были признаны дорогостоящими, рискованными и на этом основании прекрyты.

Стройка на Ай-Петри была законсервирована, вся группа, работавшая над ее проектированием и строительством, отозвана в Москву, где вошла в состав Проектно-экспериментальной конторы ветроэлектростанций (ПЭК ВЭС). Те, кто в ней работал, должны были конструировать небольшие ветросиловые установки для сельского хозяйства.

— Гора родила мышь...— комментировал эту перемену Петр Кириллович.

Он не очень огорчился — их все-таки пригласили в столицу, на солидные должности, хорошую зарплату. Но Юрий Васильевич никак не мог смириться с таким поворотом. Утешало только то, что стройка законсервирована, а не прекращена окончательно.

Горчаковы выехали в Москву, а Юрий Васильевич еще задержался, чтобы ликвидировать контору, рассчитаться с рабочими. Он жил в одиночестве в домике

у подножия Ай-Петри, питаюсь консервами и печеной в золе картошкой.

Перед отъездом в последний раз поднялся на гору, посмотрел на занесенный снегом подпятник — единственное, что удалось построить, на котлован, наполненный стылой рябой от ветра водой, и ему стало грустно. Как будто предчувствовал, что никогда уже сюда не вернется, не увидит на вершине Ай-Петри крылатую белую башню, устремленную ввысь, словно космическая ракета.

Знать бы ему, что через много лет смелые очертания этой башни воскреснут в облике Останкинской телевышки, воздвигнутой по проекту его соратника и ученика Николая Никитина! Может быть, с более легким сердцем покидал бы он тогда Крым.

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

### Скатертный переулочек

На Курском вокзале в Москве Юрия Васильевича встречал облаченный в купеческую шубу Петр Кириллович с супругой. Улыбающаяся розовощекая Ольга Николаевна, одетая в черное манто, с модной шляпкой на голове, казалась фантастически красивой. Расцеловались. Носильщика нанимать не пришлось, поскольку у Юрия Васильевича, кроме фанерного чемодана с жестяными углами, с какими ездили по стране сезонные рабочие, ничего не было.

— Куда едем? — спросил Кондратюк, когда они уселись в такси.

— Пока в общежитие, — сообщил Петр Кириллович. — А там подберем жилье получше.

По дороге он же сказал, что уже подписан приказ о назначении Кондратюка старшим инженером экспериментального бюро по проектированию ветродвигателей.

— Но я даже заявления не подавал! — изумился Юрий Васильевич.

Петр Кириллович со снисходительным смехом похлопал его по плечу.

— Святая наивность!.. Все это формальности, фор-

мальности, дорогой, которые легко преодолеваются... При умении, конечно.

— Петя все устроил,— сказала Ольга Николаевна, нежно глядя на Юрия Васильевича из-за цветов, которые предназначались ему, но были немедленно преподнесены ей.

Юрия Васильевича несколько кольнула мысль, что Петр Кириллович что-то слишком бесцеремонно стал в последнее время обращаться с ним, как со столом или шкафом в собственной квартире, которые можно свободно двигать туда и сюда, не спрашивая на это разрешения. Но он объяснил это лишь тем, что за годы сотрудничества они стали настолько близки, что Петр Кириллович и не сомневался в его согласии. Видимо, Горчаков и Ольга Николаевна считали Юрия Васильевича непрактичным в чисто бытовых делах, человеком «не от мира сего», поэтому взяли все заботы о его устройстве на себя.

Тихий Скатертный переулок, соединявший кривым коленом через Хлебниковский и Мерзляковский переулки улицу Поварскую с Арбатской площадью, в долгие зимние месяцы становился тишайшим. Здесь и поселился Юрий Васильевич после скитаний по общежитиям и углам. Свежий, выпавший за ночь снежок похрустывал по утрам под ногами прохожих, изредка доносилось фырканье посольских автомобилей с Поварской, переименованной в улицу Воровского,— ее облюбовали для своих резиденций некоторые дипломатические миссии. И тихо, и к центру близко.

Дом стоял в самом начале переуллка, на сгибе его колена. Здание солидное, крепкое, строенное, видно, в конце прошлого века, когда, не слишком заботясь о красоте, пеклись прежде всего о крепости и долговечности.

Он выходил каждое утро из-под арки, ведущей во внутренний двор, и видел идеально чистую скатерть снега, расстеленную ночной метелью. И, вдыхая утренний, пахнувший свежестиранным бельем холодок, думал, что, наверное, за эту сверкающую непорочную белизну переулок и назван Скатертным. Потом он узнал происхождение этого названия: здесь жили еще во времена Ивана Грозного люди, обслуживавшие царский стол, накрывавшие его скатертями.

Туго набитый трамвай довозил его до работы. Здесь

он надевал сатиновые нарукавники, садился за стол и превращался в такого же совслужащего, как тысячи вокруг него. Бумаги шелестели повсюду, как волны необъятного моря, и порой ему казалось, что он тонет в них.

Хотя контора и называлась экспериментальной, простора для творчества, для эксперимента тут было мало: все сотрудники помещались в одной, хотя и большой, комнате. Ветросиловые установки, которые надо было конструировать и передавать промышленности для массового производства, были слабосильны и не требовали ни инженерной фантазии, ни риска, с которыми связано осуществление больших проектов. Эти установки со временем должны были украсить сельские пригорки, сменив обветшавшие ветряные мельницы. Но те, по крайней мере, смотрелись лучше. И когда это будет — неизвестно, потому что на первый план выходила гидроэнергетика, рисунок плотины ДнепрогЭС красовался на всех плакатах и даже на трудовом ордене, а ветряные электростанции были пока что не в моде.

«Бросаем деньги на ветер», — в шутку сказал кто-то из работников конторы. Юрию Васильевичу шутка не понравилась — он искренне верил, что ветроэнергетика, в конце концов, станет одной из ведущих. Прежде всего — это самый безопасный, не загрязняющий атмосферу и вообще окружающую среду способ добычи энергии. Источник ее неиссякаемый — не то что запасы нефти и угля, которые с каждым годом убывают. По дешевизне эту энергию можно сравнить только с той, которая дается течением рек, но строительство плотин пагубно скажется на рыбных запасах. Не маломощные установки следует строить, а по 10—20 тысяч киловатт. А может, даже и больше. Нет, ветер следует оседлать, заставить его работать на человечество. Не все же ему разрушать и сносить построенное человеком.

Впереди, правда, маячил новый вид энергетики, связанный с использованием солнечных лучей и огромных сил, освобождающихся при расщеплении атома. Но перспективы и последствия такой энергетики были пока еще не очень ясны.

Петр Кириллович вяло поддерживал его в этих рассуждениях. Судьба электростанции на Ай-Петри и вообще ветроэнергетики, похоже, теперь его мало волновала. Оказавшись в Москве, он почувствовал себя

настоящим москвичом — все, что находилось за чертой столицы, уже было для него глухой провинцией. Премальные деньги, полученные за проект ветровой электростанции, были давно истрачены, теперь, считал он, государство само должно было доводить дело до конца. А вскоре Горчаков и вовсе отдалился — перешел работать в другое ведомство. Ему дали отличную квартиру.

У Петра Кирилловича в столице появилась масса знакомых, причем это были в основном солидные, чем-то ведающие люди. Эти знакомцы часто звонили ему на службу, и он вполголоса, прикрывая микрофон ладонью, договаривался с ними о каких-то встречах — randevу, как он их называл. Среди них были администраторы гостиниц и театров, метрдотели ресторанов, банщики из Сандунов. С такими знакомцами Петр Кириллович мгновенно устраивал все, на что другому понадобились бы годы. Словом, он был вполне доволен своей московской жизнью.

Горчаковы и Юрий Васильевич теперь все реже встречались, во всяком случае, Горчаковы так и не нашли времени побывать дома у своего давнего друга и соратника. Иногда он случайно сталкивался с Ольгой Николаевной, разговор получался отрывистый, телеграфный — она вечно куда-то спешила, была, по ее выражению, «замотана». И видимо, занята была не столько домашним хозяйством — Горчаковы теперь держали приходящую домработницу, а всевозможными культурно-развлекательными делами — концертами, спектаклями, выставками, которые считала нужным непременно посещать, поскольку на них бывала «вся Москва». Но в ее глазах вспыхивала неподдельная радость, когда она видела Юрия Васильевича — длинного, нескладного Дон Кихота, которого считала своим тайным и верным обожателем. Она сжимала его руку своей маленькой энергичной ручкой, затянутой в перчатку, и звала с собой на какой-нибудь очередной вернисаж. Но Юрий Васильевич виновато улыбался: извините, не могу. Хотя ему действительно хотелось побыть подольше в обществе этой солнечной, как он называл ее, женщины, поскольку она действительно ему нравилась, но он не смел думать о ней иначе, как о жене своего близкого друга, не хотел давать повод для пересудов. Кроме того, он вообще старался избегать всяких шумных и бестолковых сборищ, где в чести только знаменитый, броско одетый, не

то, что он — в своем дешевом москвошвеевском костюмчике, в рубашке с не очень свежим воротником и в скрученном жгутом галстуке.

И он оставался длинными зимними вечерами дома в своей комнатке, в обществе глуховатой, но весьма словоохотливой старухи — квартирной хозяйки и ленивого раскормленного кота. Он сидел за своим столом, писал, чертил при свете настольной лампы с самодельным жестяным абажуром, слушал одним ухом воркотню старухи и мурлыканье кота, дружески тершегося о его ногу. Это были по-настоящему его т в о р ч е с к и е часы. Он снова и снова прокладывал дорогу к звездам. Теория полетов в космическое пространство была уже, по существу, разработана. Хотя его книжка «Завоевание межпланетных пространств», как он считал, безнадежно утонула в океане книг и ничьего внимания особо не обратила (он не знал, что экземпляр его книги приобрел германский пушечный король фон Крупп, а другой экземпляр попал в библиотеку конгресса Соединенных Штатов), но повсюду гремело имя Циолковского как основателя и провозвестника теории космонавтики, а инженеры-энтузиасты из группы Королева добились-таки, что запущенная ими ракета продержалась в воздухе несколько секунд, — и, значит, дело жило, развивалось!.. Он разрабатывал дальше, детализировал теорию, старался придать ей материальные формы.

А страна тем временем, завершая пятилетний план, рвалась ввысь. По небу неспешно проплывали серебристые сигары дирижаблей, летчики устанавливали рекорды высоты и дальности полетов. Чкалов и Громов слетали в Америку через Северный полюс. К границам земной атмосферы поднимались стратостаты. Один из них под командованием Федосеенко достиг невиданной по тому времени высоты — 22 километра. Но опустился на землю с мертвыми стратонавтами. Эта смерть потрясла всех. Богомольные старухи говорили, что это Господь наказал смельчаков, посмевших приблизиться к его престолу. Об этом сказала Юрию Васильевичу старуха-хозяйка. В ответ он только усмехнулся — уж больно низко поместилось божье жилище!

Он выходил утром на улицу после ночи, где на сон пришлось всего два-три часа, со слегка кружащейся от недосыпа головой, печатал свои следы на белоснежной скатерти, расстилавшейся перед ним, и ему казалось, что

он ступает по поверхности Луны, опустившись на нее первым из землян.

За работой время летит незаметно, и вот уже, взглянув утром на себя в зеркало, он обнаружил в смолистых своих волосах снежную ниточку. Сначала не поверил своим глазам, потом выдернул, посмотрел — да, седина. И вспомнил, что на днях ему исполняется сорок.

Сорок лет! Сердце горестно замерло. Это же целая жизнь, многие люди к этому времени... Господи, да что говорить о великих, успевших к сорока сделать все свои основные открытия и прославиться! Даже простые, самые что ни на есть нормальные люди к сорока годам обзаводятся семьей, детьми, домами, создают прочное, солидное положение. А он?

Горько ему стало. Еще горше потому, что никто и не знал о приближающемся дне рождения и не мог знать — ведь по паспорту он был на несколько лет моложе. Даже Горчаковы его не поздравили. Да и с чем поздравлять-то?

В первый раз за много лет, изменив своим твердым правилам, он купил бутылку вина, коробку конфет и пришел домой пораньше, решив тихо отпраздновать свое сорокалетие. Старуха обрадовалась, поставила самовар, выпила две рюмки вина и принялась петь тонким голосом деревенские припевки — ведь она, как многие москвичи-новопоселенцы, была из деревни. Мурлыкал и терся о колени, подняв хвост свечкой, кот. Было хорошо, уютно. С непривычки у Юрия Васильевича быстро затуманилась голова; и безотрадные мысли отхлынули. Его положение, нынешнее и будущее, уже не казалось ему таким безотрадным. «Мы еще поборемся, мы победим», — бормотал он, засыпая.

А на следующее утро проснулся с тяжелой головой и гадким привкусом во рту, тут же дал себе клятву никогда больше не прикасаться к дьявольскому зелью.

Умывшись холодной водой до пояса, растеревшись мохнатым полотенцем до красноты тела, он вновь почувствовал себя свежим, бодрым, готовым к борьбе за себя и за свои дела.

Что такое, в сущности, сорок лет? Время человеческой зрелости. Можно прожить еще пятнадцать, даже

двадцать лет и совершить за это время немало. Вот только если бы, если бы...

На горизонте маячила война. Большая война.

## ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

### Обрыв

Читая газеты, слушая радио, он каким-то шестым чувством осознавал — впереди зияет обрыв. И время толкало к этому обрыву не только его, но и всю страну, весь мир, не давало остановиться или свернуть в сторону.

Уж очень беспокойно было в мире. Шла война в Испании, воспринимаемая в нашей стране так, как будто взрывы гремели не у окраин Мадрида, а где-нибудь возле Смоленска или Минска. Гибли там люди, и многие знали, хотя об этом нигде не писалось, что гибнут не только испанцы, а и наши парни из Костромы, из Рязани, из Перми, которых в России ждут отцы, матери, любимые.

А что будет дальше? Поднималась какая-то новая волна, свистопляска жестокости, которая все захлестнет, сметет с лица земли, превратит в пепел все доброе, что сделано за века человеком. И о каких полетах в космос можно тогда говорить!

Еще в годы их первоначального заочного знакомства он все мечтал встретиться с Циолковским, чтобы поделиться с ним своими мыслями — и не только научными, высказать опасения, которые его грызли. Уже в начале 30-х остро запахло войной. Он был уверен, что мудрый старец его поймет и они вместе найдут какой-нибудь выход — обратятся с письмом ко всем правительствам мира, например, докажут пагубность войны для всего живого, для прогресса человечества... Собирался, собирался к нему съездить, когда наезжал в Москву, — и что это стоило, казалось — Калуга рядом, садись на поезд, и через два часа... Но все что-то удерживало. А главное, сообщения, что старик сильно болен и почти совсем оглох.

И однажды, развернув газету, он увидел портрет бородатого, похожего на бога Саваофа, каким его изображают в храмах, старца в траурной рамке.

Он застонал, упал головой на стол. Вот он, первый обрыв. А что еще впереди?

Когда-то он писал Циолковскому в своем юношески-восторженном письме (это после того, как получил от него бандероль с книгами): «...Благодарю Вас за присланные Вами книжки. Я был чрезвычайно поражен, когда увидел, с какой последовательностью и точностью я повторил не только значительную часть из Ваших исследований вопроса межпланетных сообщений, но и вопросов общефилософских. Видимо, это уже не странная случайность, а вообще мое мышление направлено и настроено, как и Ваше...»

Он прекрасно осознавал, конечно, и коренную разницу в методах подхода к одной и той же проблеме, применяемых им и Циолковским, но не хотел заострять на этом внимание, для него неизмеримо важнее было то, что у него в мире есть духовный отец или, по крайней мере, мудрый старший брат, к которому можно прибегнуть в пору невзгод и сомнений.

И вот его не стало... В первый и последний раз он услышал голос Константина Эдуардовича в механической записи, когда он обращался с приветствием к участникам праздничного парада на Красной площади. Голос слабый, старческий, к тому же забитый всевозможными радиопомехами. Как он звучит на самом деле, ему узнать так и не довелось.

И вот тогда он с предельной ясностью осознал, что и сам может внезапно умереть, хотя никакими серьезными заболеваниями не страдал. Но мало ли что случится — можно и под трамвай попасть, и кирпич с крыши может свалиться на голову... А что останется после него? Только жалкое барахлишко да небольшая брошюрка, которая всеми забыта. Разве что еще — книги и бумаги... Вот в бумагах, его последних работах, — главная ценность. Но в них не каждый может разобраться, и они будут выброшены в мусор или пойдут на растопку. Он уже несколько раз ловил старуху — свою квартирную хозяйку на том, что она сует в печку случайно оброненные им со стола листки. Но когда его не станет, кто остановит руку этих невинных геростратов?

И он решил на шаг, который мог показаться со стороны нескромным и несколько преждевременным — ведь он в то время был мало кому известен! — передать все свои последние законченные работы в му-

зей К. Э. Циолковского, который создавался в Калуге. Воспользовался приездом в Москву хранителя архива Циолковского Бориса Никитича Воробьева и передал ему аккуратно собранные в папки свои бумаги, которые, как он считал, пригодятся потомкам при подготовке к полетам в космос. Дар этот был с благодарностью принят. Это произошло 5 июля 1938 года.

Может быть, эти материалы когда-нибудь поместят на специальном стенде «Последователи Циолковского». Ну хотя бы так, лишь бы они сохранились.

Но, проделав это, он не ощутил, что все земные дела его завершены. Столько было их еще впереди!

И он продолжал работать.

Зима 1939 года выдалась особенно суровой и холодной. Началась война с финнами. Снова ввели отмененные было карточки на хлеб.

В конторе шла запись добровольцев на финский фронт. Записались несколько молодых сотрудников.

— А ты как, Васильич? — спросили Кондратюка.

Все знали, что у Юрия Васильевича нет семьи, значит, он вольный казак и может свободно распоряжаться собой. И некому особенно будет плакать, если он с фронта не вернется. Думали: уж этот-то запишется непременно.

Но Кондратюк неловко помялся и наконец сказал:

— Я подумаю...

Не чувство самосохранения руководило им. Он решил посоветоваться с Петром Кирилловичем, с которым включился недавно в новую большую работу: не подведет ли он своим уходом товарища?

Петр Кириллович бурно запротестовал:

— Вы с ума сошли! Инженеру с таким размахом и вдруг — в окопы? Пусть посылают туда выдвиженцев, которыми забита контора, от них пользы, как от козла молока!.. И потом — наш проект... Извините меня, но ваш отъезд на фронт, как это ни парадоксально, будет дезертирством, предательством. Да, да, предательством не только меня, но и всего нашего общего дела. И не вздумайте! Да и начальство вас не отпустит, я уверен... Олюня, ну хоть ты скажи что-нибудь этому упрямцу!

— Вы здесь больше нужны, Юрич, — сказала Ольга Николаевна.

И он больше не подошел к столу, на котором записывали добровольцев. Никто ему не напомнил, что он обещал подумать и дать ответ.

Впрочем, даже многие из тех, кто записался, мирно остались работать в конторе.

Все же ноготок раскаяния нет-нет да и царапнет душу. Стало казаться, что товарищи по конторе после этого случая смотрят на него косо. Но это было лишь проявлением обостренной мнительности.

Впереди могла еще представиться возможность исправиться. Финская война закончилась, но вспыхнула война сразу в нескольких районах Европы. Гитлер бросился на Чехословакию, оккупировал Данию, Норвегию, Бельгию, Голландию. Глотая одну страну за другой, как таблетки, занял Югославию, Грецию, высадил десант на острове Крит, ворвался во Францию, взял Париж... В грозном воздухе висел вопрос: кто следующий?

С Германией у нас был пакт о ненападении и даже о дружбе, но эта бумажная преграда могла в любой момент быть разорвана. Фюрер не очень считался с бумажками...

В одно из летних воскресений Юрий Васильевич вышел из дома с намерением прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть Москву. За годы, которые он прожил в столице, Юрий Васильевич, пожалуй, как следует ее и не рассмотрел. Даже в зоопарке, до которого было рукой подать, не был, два раза всего заглянул в Центральный парк культуры и отдыха, но там ему не понравилось: громко дудели оркестры, слишком много было народа, поднимавшего ногами пыль на дорожках, а качели и аттракционы его не заинтересовали. В Москве только и знал он, по существу, дорогу на работу и обратно.

Теперь решил наверстать упущенное.

Был жаркий летний день. В ярко-синем небе, как белые гуси, важно плыли облака. Он вышел на Садовое кольцо. Толпы празднично одетых людей текли по тротуарам. Возле сатураторных тележек и лотков с мороженым стояли длинные очереди. В лужицах разлитого сиропа, подрагивая полосатыми брюшками, ползали осы. Прерывисто крякая клаксонами, двигались автомобили, посверкивали свежим лаком «эмки» и «зисы» — последние достижения отечественного автомобилестроения.

Юрий Васильевич шел и любовался этой мирной суетой. Какие-то юнцы в майках, пробегая, задели его, и с головы чуть не свалилась шляпа.

— Извини, отец! — крикнул один из них на бегу.

— Ладно уж... — он плотней натянул шляпу, а сам подумал: «Вот оно, дождался. Скоро дедом `будут называть».

Это маленькое происшествие не испортило его настроения, лишь позабавило.

Он дошел до Арбата и уже собрался свернуть на него, как увидел большую толпу, стоявшую возле столба с черной трубой репродуктора. Репродуктор молчал, но по хмурым, напряженным лицам людей он понял, что они ждут какого-то серьезного сообщения.

— В чем дело? — спросил он у первого попавшегося — старичка с авоськой.

— Война, — ответил тот. — Молотов счас выступал, объявил: немцы на нас пошли... Будут теперь повторять его выступление.

— А может, просто инцидент, провокация?

— Нет, война. Киев бомбили, Севастополь... Опять фашистами их назвали... А ведь они всегда и были фашистами, друзья лыковые!

Вот он, настоящий обрыв... Послушал речь Молотова, прочитанную диктором, и поспешил домой. Даже не мог дать себе отчета, почему так торопится. Видно, в подсознании теплилась надежда: как только добежит он до своего тихого Скатертного, все станет на место и там его встретят другие вести — о прекращении конфликта, о мирных переговорах. Он почти бежал по мгновенно обезлюдевшим тротуарам. Только на перекрестках у репродукторов нарастали непробиваемые толпы людей. Стояли трамваи, троллейбусы, машины. Из них тоже высунулись люди, слушали. Выслушав сообщение, многие не уходили, ждали новых вестей. Женщины плакали. Лишь какой-то пьяненький растрепанный мужичонка орал:

— Ничо-о-о! Били, бьем и будем бить! Малой кровью, могучим ударом. Ура-а-а!

— Заткнись, дурак, — сказали ему, но он, похоже, даже не расслышал.

Когда Юрий Васильевич пришел домой, он застал мирную картину: хозяйка ковырялась у плиты, готовила обед.

— Чего так рано возвратился? — спросила. — У меня еще не готово.

— Война! — тяжело дыша, выговорил Юрий Васильевич.

— О-о-о, — сказала старуха. — А мне-то седни недавном сон приснился...

И принялась рассказывать про сон.

Юрий Васильевич прошел в свою комнату, выдвинул чемодан из-под кровати, выбросил из него все, что считал лишним, оставил только необходимое для дороги — две смены белья, бритву, умывальные принадлежности. Папку с оставшимися, не сданными в музей Циолковского, бумагами просмотрел. В них было немало ценного: расчеты новых космических трасс, эскизы будущих межпланетных кораблей. Взять эти бумаги с собой он не мог. Но и оставлять их так просто было нельзя.

Вошла хозяйка. Жалобно спросила:

— Чё ж теперь будет? Немцы победят ежели? Опять царя посадят?

— Не победят они... И царя больше не будет, — рассеянно ответил Юрий Васильевич, перелистывая бумаги. — Вот что, дорогая, — он назвал старуху по имени-отчеству, — я скоро уеду... ну, сами знаете куда. Так вот, я оставляю вам кое-какие свои вещи и эти бумаги. Ну вещи — шут с ними, можете их отдать кому-нибудь или продать, если не скоро вернусь, а бумаги эти сохраните и, если меня долго не будет, снесите их в нашу контору, я вам адрес напишу. Если уж некому будет передать, тогда сожгите...

— Ага, сожгу, милый, сожгу, — сказала старуха, услышавшая и усвоившая, видно, только последнее слово. — А чо — рази тебя возьмут на войну? Старый уже воевать вроде.

— Не возьмут, так сам пойду... Дело завязалось нешуточное.

— Господи, сокруши супостатов! — истово закрестилась хозяйка.

В понедельник по улицам Москвы уже маршировали одетые в новенькую форму мобилизованные. Поскрипывали ремни, еще необношенные, только со складов сапоги. Глянцево, как арбузы, поблескивали зеленые шлемы, притороченные к скаткам.

Колонны двигались к Белорусскому вокзалу. По тротуарам следом за ними шли женщины, бежали ребятишки.

Когда Юрий Васильевич пришел в контору, все сотрудники были уже в сборе в большой комнате, названной конференц-залом. Озабоченный парторг сновал, как челнок,— то заходил в кабинет заведующего, где сидел представитель райкома партии, то выходил из него с какими-то листками и беседовал с сотрудниками, протягивая им эти листки.

Подошел и к Юрию Васильевичу.

— Может, выступишь? — спросил.— С гневными словами осуждения фашистских захватчиков и прочее... О готовности стать грудью на защиту великой родины социализма скажешь... Текст уже готов, вот он, на листочке. Так выступишь, а?

— Нет,— твердо ответил Кондратюк.— Говорить не мастер, а по бумажке сейчас читать — стыдно. Вот на фронт могу хоть завтра. Не призовет военкомат — добровольцем пойду.

— Ну, насчет добровольцев покуда нет указания,— сказал парторг, а сам подумал с досадой: вечно фокусничает этот инженер, словно он один шагает в ногу, а остальные — вразнобой. Сейчас вон каким себя героем выставляет, а прошлый раз, когда на финскую записывали, мялся... Недаром говорят, что у него с биографией что-то нечисто...

Тут парторг переключился на другого сотрудника и забыл на время о Юрии Васильевиче.

Митинг прошел честь по чести.

Сводки Совинформбюро с каждым днем становились все более тревожными. В них многое не договаривалось, очевидно, чтобы не вызывать паники среди населения, но и так всем было ясно — положение тяжелое, дальше некуда. Каждый день появлялись все новые направления боевых действий — то Минское, то вдруг Смоленское.

3 июля по радио выступил Сталин. Он говорил тихо, задыхался, часто пил воду. Вся страна с замиранием сердца слушала, как булькает минеральная вода, наливаемая в стакан. «Братья и сестры! Соотечественники и соотечественницы! К вам обращаюсь я, друзья мои»,—

говорил Сталин, и женщины утирали глаза кончиками платков. Никогда еще вождь не обращался так сердечно к своим согражданам. Значит, положение действительно серьезно, если ОН обращается за помощью ко всему народу, с которым до этого не очень-то считался. Он призывал советских людей подняться на с в я щ е н н у ю войну против немецких захватчиков, употребив слово почти забытое, поскольку связано оно было в основном с религией. Призывал к тому, чтобы земля г о р е л а под ногами захватчиков. Какая земля? Ну та же самая, советская, на которой растили хлеб, строили дома, рожали детей.

После речи Сталина было объявлено о формировании московского народного ополчения. Одним из первых записался в него инженер, которого все знали под именем Юрия Васильевича Кондратюка. (Даже в этот миг он не мог, не осмелился назвать свое настоящее имя, решив, что сделает это позже, после Победы.)

В этот же день Юрий Васильевич пришел к Горчаковым — попрощаться. Петра Кирилловича, работавшего в наркомате, он уже несколько недель не встречал и забеспокоился — не захворал ли? Но Горчаков оказался дома и в полном здравии. Он и Ольга Николаевна сидели у самовара и пили чай. Петр Кириллович был в своей домашней куртке со стегаными отворотами и витым поясом. Он, оказывается, недавно вернулся из Совнаркома, куда был вызван по весьма срочному делу.

— А,— сказал он,— присаживайтесь, дорогой. Олечка, налей Юричу чайку покрепче. В жару, знаете ли, для прохладения лучше всего пить чай.

— Спасибо,— сказал Юрий Васильевич,— я к вам ненадолго. Попрощаться пришел, уезжаю.

— Куда это?

— На фронт, куда же еще!.. А вы... остаетесь?

Наступила неловкая пауза. Петр Кириллович внимательно рассматривал свои ногти. Было слышно, как бьется о стекло муха.

Первой заговорила Ольга Николаевна:

— Петюша получил отсрочку. У него, как это называется, бронь. Всем специалистам, нужным в тылу, выдается бронь. А вы разве ее не получили?

— Нет, я даже не слышал о существовании брони. Про броню слышал, про брönю — нет. И видно, я нужен больше на фронте, чем в тылу...

— Что делать? — горестно поднял брови Петр Кириллович. — Я бы тоже, как вы — с оружием в руках. Но меня задержали, понимаете. Как я ни просил... Ну что ж, давайте прощаемся на всякий случай, друже. Верю все же, что вы скоро вернетесь. С победой!

Прощание получилось холодноватым. Юрий Васильевич вяло пожал протянутую ему потную ладонь. Ольга Николаевна поцеловала его в лоб и перекрестила, как покойника.

— Я еще вернусь! — крикнул он с озорной веселостью уже с порога. — Со мной ничего не случится, вот увидите!..

Он выскочил на улицу, прерывисто вздохнул. Похвалил себя за то, что удержался, не наговорил Горчакову резкостей. Может, его и в самом деле задержали, как особо ценного специалиста, кто знает?

Ладно, не стоит думать о человеке плохо, тем более что за плечами — годы дружбы и сотрудничества. Нет, Горчаковы пока что единственные люди, которым он может подать о себе весточку с фронта. В Киеве есть еще сестра Нина, вернее, она там жила, но сейчас неизвестно, где она и жива ли вообще, потому что вокруг города идут жестокие бои, город бомбят и обстреливают из орудий ежедневно.

Немецкие бомбардировщики стали прорываться и к Москве. Над столицей повисли азростаты воздушного заграждения, окна заклеили белыми полосками крестнакрест, витрины магазинов завалили мешками с песком, улицы перегородили противотанковыми ежами, сваренными из обрезков рельсов. Началась эвакуация предприятий и некоторых учреждений на восток.

Шагая вдоль Садового кольца, Юрий Васильевич видел вереницы легковых и грузовых машин, шедших впритык в одну сторону. Они были нагружены домашним скарбом и набиты людьми. В окнах виднелись бледные женские лица, детские головенки, но сидели в машинах и крепкие, широкоплечие мужчины, которым в самое время было бы двигаться не на восток, а на запад.

— Уже драпают! — слышалось из толпы, собравшейся на тротуаре. — Бегут, крысы!

— И пусть драпают! Москва без них будет чище!

Какой-то мальчишка бросил в сверкающую лаком автомашину камень, но он, не долетев до серебристого радиатора, запрыгал по мостовой, как воробей.

Юрий Васильевич понимал, что эти выкрики несправедливы. Многие эвакуировались по плану, вместе с предприятиями. С ними — женщины, старики, дети, которые не могли принести пользу при обороне, а лишь погибли бы понапрасну во время воздушных налетов. Понимал это, и все же, все же... Ему сейчас больше по душе были те, кто отправлялся на фронт или оставался в городе, чтобы, если потребуется, встретить врага огнем.

Конечно, среди тех, кто отправлялся сейчас в Среднюю Азию и за Урал, было немало и таких, которым самое место в окопах. Но стоит ли сейчас о них говорить? Лучше делать как следует самому то дело, к которому ты сейчас приставлен. И он был горд тем, что через несколько часов ему дадут в руки оружие. Вспоминалось высокопарное, но верное брюсовское:

Когда бросает ярость ветра  
В лицо нам вражьей знамена,  
Сломай свой циркуль геометра,  
Прими доспех на ремена!

Он почему-то верил, что никакие пули, никакие штыки его не тронут, пока он не осуществит свою главную мечту: увидеть, как взлетает к звездам корабль, построенный по его проекту. И еще одну — сбросить с себя наконец чужое имя, вернуть себе свое, данное при рождении.

Но для этого надо было выжить и вернуться домой с Победой.

Он верил до последнего вздоха, что именно так оно и будет, писал об этом с фронта в сврем единственном письме Горчаковым.

Кондратюк и его сослуживцы по проектной конторе были зачислены в роту связи 62-го полка 21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы:

Когда полк выстроился во дворе сборного пункта — старые и молодые, в мешковатых гимнастерках, многие в очках, усатые и бородатые, с выпирающими из-под ремней животиками, — командовавший полком майор огорченно подумал: «Вот так воинство», но вида не подал и произнес бодро:

— Здравствуйте, товарищи бойцы!

В ответ послышалась такая разноголосица, что хоть

уши затычкой. Кто выкрикнул «Здравия желаем!» — это те, кто в старой армии служил, кто ответил вежливо «Здравствуйте», а кто пробормотал нечто вроде «Приветствую вас!».

Командир спрятал улыбку в складках губ.

— Да, товарищи, с нынешнего дня вы все — бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Знаю, что многие отвыкли от службы или вообще не обучены военному делу. Учиться будем на ходу, возможно, в боях. Враг рвется к столице, а наша задача — преградить ему путь, хотя бы ценой собственной жизни. Важность этой задачи объяснять вам нечего — вы все люди образованные, среди вас есть даже профессора... Теперь я попрошу поднять руку тех, кто не умеет обращаться с винтовкой, с ними проведут дополнительные занятия, прежде чем они получают оружие.

Руку никто не поднял.

— Так, хорошо, — сказал майор. — Вижу, что тут обстрелянный народ... Прошу подходить повзводно, шеренгами — получать оружие.

Когда получали из рук старшины тяжелые винтовки с затворами, еще хранившими следы смазки, пожилой человек с бородкой клинышком застенчиво шепнул Юрию Васильевичу:

— А я, знаете, не умею заряжать эту штуку. Стрелять — как-нибудь выстрелю, а вот заряжать не пришлось... Стыдно было в этом признаться...

— Ничего, я поучу, — успокоил его Юрий Васильевич.

Он считал себя чуть ли не профессиональным военным — все же воевал в первую мировую, хотя по документам, как и многие ополченцы, считался «бойцом необученным».

Ночью дивизия двинулась своим ходом на передовую. Позади остались тонущие во мраке, но не спящие улицы Москвы — ожидался новый налет вражеской авиации; потом по сторонам поплыли темные избы пригородных деревень, домики заколоченных дач, еловые и березовые перелески.

Где-то далеко на западе схватывались сполохи — то ли гроза там полыхала, то ли бой шел. Было зябко и тревожно. Неожиданно загрохотали замаскированные

в кустах зенитки. Позади, над Москвой, заметались по небу голубые мечи прожекторов, и то там, то здесь вспыхивали мотыльками в их лучах немецкие бомбардировщики.

Юрий Васильевич невольно вобрал голову в плечи. Было такое впечатление, что за плечами рушатся какие-то мосты и назад дороги нет. Вероятно, то же, что и он, чувствовали и его товарищи.

Колонна шагала молча. Только идущий с ним рядом профессор-энтомолог, тот, что не умел заряжать винтовку, охал и шипел при каждом шаге. Ему при обмундировании достались сапоги, но он не сумел правильно намотать портянку и быстро натер себе ноги. Остановиться, чтобы перемотать портянку, боялся — вдруг подумают, что он прикидывается больным или пытается удрать. Наконец взводный заметил его страдания, приказал выйти на обочину, разуться и следовать босиком.

На первом же привале Юрий Васильевич обучил его наматывать портянки так, чтобы они не натирали ногу. У него самого были ботинки и обмотки — справа для него непривычная, и он бы с удовольствием поменял ее на сапоги. Заодно обучил профессора, как надо закладывать обойму в магазин винтовки.

— Спасибо, коллега,— прочувствованно сказал профессор.— Что бы я без вас делал!..

Чем дальше они продвигались, тем явственней слышался гул боя. Немцы обходили Москву с юга, бои шли где-то юго-западной Калуги. Юрий Васильевич с тревогой подумал о судьбе музея Циолковского. Успели его эвакуировать или нет? А может, он сгорел вместе с материалами, которые были переданы им туда незадолго до войны?..

Вышли к какой-то деревне. Рота связи остановилась на опушке леса. Взялись за лопаты, начали рыть окопы и ямы для землянок. Метрах в ста от связистов должен был разместиться штаб полка. Поняли: вот это и есть позиция, на которой они должны были дать бой врагу, остановить его и погнать на запад.

Начинались боевые будни.

3 октября немцы предприняли наступление на участке дивизии. После артиллерийской подготовки, перемешавшей небо с землей, погасившей и без того неяркий

свет осеннего солнца, двинулись в атаку угловатые немецкие танки. За ними, распадаясь на зеленовато-серые комки, бежала пехота. Кинжальные жала автоматных очередей сверкали в просветах меж танковыми тушами.

Наши молчали до поры. Потом разом, подчиняясь единому приказу, плотно, слитно заговорили «максимы», «дегтяревы», винтовки, словно занялся хворост в огромном костре. Залегшие в окопах бойцы принялись отсекал пехоту от движущихся танков. Но танки продолжали грозно и, казалось, неотвратно надвигаться на наши окопы. Они дрогнули слегка, смешались, когда им в лоб ударили противотанковые орудия. Несколько машин было подбито, но остальные шли и шли. И когда уже стало видно, как отлетают комки земли от зеркально сверкающих траков, из окопов взметнулись связки гранат, полетели бутылки с горючей смесью. Еще несколько танков запылало, остальные повернули обратно.

— Ур-р-ра-а-а! — пронеслось по окопам.

Бойцы бросились догонять и добивать отступающую пехоту. А одна из рот 61-го стрелкового полка ворвалась на плечах отступающего врага в деревню Засецкие Хутора и заняла ее.

Это была хоть и маленькая, но первая победа. Юрий Васильевич в это время находился на КП своего полка, обеспечивал проводную связь и слышал, как комполка, радостно взволнованный, передавал сообщение об исходе боя в штаб дивизии. Он представлял, как это сообщение пойдет дальше — в штаб корпуса, армии, фронта, а потом ляжет победной реляцией на стол Верховного главнокомандующего. Он был рад, что в этой, первой, победе была доля и его труда: в течение всего боя телефонная связь работала без перебоев.

Но передышка скоро окончилась. Перегруппировавшись, немцы снова пошли в атаку. И она была отбита, но уже с более значительными для нас потерями. На одном из участков танки смяли линию обороны, прошлись утюгами по окопам и блиндажам. И хотя их удалось все же уничтожить, урон они нанесли немалый.

Снова возобновилась затяжная, интенсивная артиллерийская подготовка. Это означало, что гитлеровцы готовятся к новой атаке. Возле КП полка легло несколько тяжелых снарядов, с потолка блиндажа посыпалась земля.

Командир, малиновый от натуги, кричал в телефонную трубку, требуя огневой поддержки от артиллеристов, чтобы полк смог перейти в контратаку.

Оторвал наконец трубку от уха, посмотрел на нее, сморщившись, как от боли:

— Ч-черт! Что же это я в воздух кричу? Связи нет. Телефонист!

— Здесь! — ответил Юрий Васильевич.

— Какого... — комполка выругался, — ты тут сидишь, зад греешь? А ну, шагом марш, быстро найди разрыв, устрани!.. И чтоб через пять минут связь была!

У Юрия Васильевича от обиды дрогнуло лицо, но он сдержался, сказал «есть» и, потуже натянув на голову шапчонку, шагнул из блиндажа в пространство, прошитое свистящими пулями и осколками. Тонкие березы, стоящие возле блиндажа, были иссечены, щепки древесины белели на пожухлой траве, как перебитые кости. Он бежал от одного ствола к другому, укрываясь за ними, держа между тем в поле зрения тонкую ниточку провода. Обрыв, видимо, не близко. Молил бога только об одном: чтобы удалось обнаружить обрыв до темноты — в темноте найти будет трудней, придется зажигать карманный фонарь, а это — ориентир для снайпера.

Осенний день между тем уходил стремительно, как будто выливалась вода в широкую воронку. Под ногами чавкало, они то и дело разъезжались на размокшей глине. Да еще обмотки, будь они неладны, ослабли, с правой ноги соскочил конец и волочился по земле. Но нельзя было ни на миг остановиться, чтобы поправить. Там, на КП, ждали. Да и хватило бы этого мгновения как раз на то, чтобы попасть на мушку снайперу. Шапчонка не спасет от пули, а каски ему не досталось. Так что даже любой шальной осколок на излете может оказаться смертельным.

Уже в загустевших до чернильной синевы сумерках он заметил обрыв. Провод был перебит снарядом. Он прыгнул в воронку, образованную взрывом, и принялся за работу. За несколько минут срстил концы провода. Проверил своим аппаратом — связь восстановилась. Теперь осталось все заизолировать... Так, хорошо, последний виток. Все. Можно теперь наконец заняться обмотками. В воронке стало совсем темно. Он стал на ее край, нагнулся. Силуэт его четко обозначился на фоне вечерней зари. Мокрое грязное полотно скользило в руках, когда

он его натягивал. «Ну ничего, ничего, мы с тобой справимся,— шептал он сквозь зубы.— Я ведь старый солдат, я ста...»

Тут перед глазами сверкнуло. И сразу глаза затопила тьма...

Заняв эту местность, немцы согнали население деревень убирать и хоронить убитых красноармейцев.

Женщины в телогрейках и теплых платках шарили по карманам гимнастеров убитых, разыскивая «смертные медальоны» с именами и адресами погибших. Но у многих медальонов не оказывалось.

— Ишь, сердешный,— говорили они,— и написать о тебе некому... Ну, царство тебе небесное.

И, перекрестившись, опускали тело в общую яму.

Через десятки лет на местах солдатских могил выросли памятники с досками, на них — рябью имена погибших, которые удалось установить.

Но имени Кондратюка среди них долгое время не было. Некоторые утверждали, что он в этом бою погиб, другие высказывали сомнение. Только много времени спустя заботами друзей и сослуживцев было высечено на одном изobeliskов и его имя. Однако судьба, не баловавшая его постоянством, и на этот раз выкинула фортель: недавно обнаружилось письмо Кондратюка, написанное им в... 1942 году. После этого известий о нем не было.

Снова загадка...

Между тем имя его появилось совсем в другом месте и даже на другой планете. На Луне.

В начале 60-х годов американские ученые и инженеры разрабатывали проект полета на Луну. И вот тогда в НАСА — национальном управлении по авиации и космическому пространству США — разгорелся спор между выдающимся специалистом по ракетной технике немцем Вернером фон Брауном, служившим еще Гитлеру, и американским инженером Джоном Хуболтом, предложившим свой вариант первого в истории человечества межпланетного полета. Проект Хуболта преду-

сматривал выведение космического корабля «Аполлон» на окололунную орбиту с последующим отделением отсека, который должен был доставить на поверхность Луны человека, а потом снова поднять его на орбиту до соединения с орбитальным модулем. Фон Браун высмеивал это предложение, считая его громоздким и неосуществимым, и настаивал на варианте с прямой посадкой на Луну космического корабля. Однако Хуболт был упорен, приводил все новые аргументы в защиту своего проекта. Наконец, фон Браун не то чтобы согласился, но перестал возражать.

Он только спросил, когда вариант Хуболта был принят:

— Когда вам пришла в голову эта идея?

Хуболт ответил, что эта идея возникла у него давно. Но гораздо раньше изложил ее в своей книге, изданной еще в 1929 году, некий русский инженер Кондратюк. Книга эта имеется в библиотеке конгресса Соединенных Штатов, и он с изумлением прочел в ней все то, что считал своим открытием.

Позже Хуболт писал: «Когда ранним мартовским утром 1968 года со взволнованно бьющимся сердцем я следил с мыса Кеннеди\* за стартом ракеты, уносившей «Аполлон-9» по направлению к Луне, я подумал в это время о русском инженере Кондратюке, разработавшем ту самую трассу, по которой придется лететь трем нашим космонавтам...»

Об этом рассказал читателям американский журнал «Лайф» 31 марта 1969 года.

А когда советский космический аппарат облетел Луну и сфотографировал ее обратную, невидимую с Земли сторону, то одному из кратеров, обнаруженному на той стороне, Международный астрономический союз присвоил имя Юрия Кондратюка, признав тем самым его огромный вклад в теорию космонавтики.

Но для некоторых оставалось (да и остается) неизвестным: а кто же такой этот Кондратюк? Если это великий ученый, то почему о нем так мало пишут? И почему его идеи раньше, чем у нас, были использованы в Америке?

Начали рыться в документах, и выяснилось, что Кондратюк — вовсе не Кондратюк и даже не Юрий

---

\* Так назывался в то время мыс Канаверал.

Васильевич, а Шаргей Александр Игнатъевич; что хотя, согласно справке Центрального архива Министерства обороны СССР, он и погиб в боях за Родину, но точно не установлено — в 1941 или 1942 году; что в его биографии столько загадок и путаницы, что лучше о нем помалкивать и, как говорилось (да и говорится) у нас часто, «не афишировать».

Так он и жил многие годы «неафишированный», присутствуя незримо при всех космических взлетах нашей эпохи, великий — это уже не может никто отрицать — ученый и изобретатель, один из пионеров освоения космического пространства.

А если говорить просто, без лишних слов, Инженер именно с большой буквы...

Стрела, пущенная им когда-то в межзвездное пространство, все летит и летит, пронзая просторы Вселенной.

## О Т А В Т О Р А

«Странный человек», «странная жизнь» — так мы говорим обычно, когда встречаемся с личностью для нас непостижимой, чье земное существование ярко и кратко, как молния, промелькнет Тунгусским метеоритом, оставив в сердцах и умах ощущение тайны, загадки. И, назвав непостижимое странным, мы как бы отводим его в сторону от себя, предоставляя потомкам разобратся в загадочном для нас явлении.

Не этим ли объясняется, что мы только сейчас начинаем осознавать огромное значение трудов Ю. В. Кондратюка — Шаргея? И не только в космонавтике, а в науке и технике вообще. Нас до сих пор поражает, как много успел сделать в жизни человек, задавленный тяжелейшими обстоятельствами, по существу, самоучка, не имевший диплома об окончании вуза, сумевший к 16 годам, ничего не зная о трудах Циолковского, Эсно-Пельтри, Оберта и Годдарда, создать стройную теорию, вывести основные формулы полета реактивных аппаратов в космос?

У скептиков это вызывает недоверие.

Но как сумел 19-летний Михаил Шолохов написать первую книгу «Тихого Дона», пожалуй, самую яркую часть великой эпопеи? Как смог юный француз Эварист

Галуа перед тем, как отправиться на смертельную для него дуэль, набросать на семи страницах формулы и доказательства, которые легли в основу современной математики, сделали его величайшим математиком всех времен? Мы восхищаемся волшебной музыкой Моцарта, но нам до сих пор непонятна природа его столь рано проявившегося гения, многое остается неясным в его жизни, загадочна его смерть. Для нас на долгие времена, а может и навсегда, останется загадкой Михаил Лермонтов, который, не выйдя даже из юного, по нашим меркам, возраста, сумел создать и «Демона», и «Мцыри», и «Маскарад», и «Героя нашего времени», лирические стихи, поставившие его вровень с Пушкиным.

Чаще всего мы находим короткое, как будто все объясняющее слово «гений», как бы отмахиваясь этим словом от трудности и сложности постижения выдающейся личности, или говорим — «странно».

А странное так и остается в стороне, сиротливо ожидая, когда наконец обратится к нему острый и пытливый ум исследователя.

Такова судьба и Александра Игнатъевича Шаргея, который долгие годы жил и творил под именем Юрия Васильевича Кондратюка, под этим именем он и остался в истории науки и техники.

Может быть, сложности его биографии, может быть, другие причины, которые считались в определенный период нашей истории вескими, объясняют то, что имя Ю. В. Кондратюка (будем в дальнейшем называть его так) находилось продолжительное время в глубокой тени.

О нем, по существу, знали только специалисты.

Вот что писал о Ю. В. Кондратюке дважды Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Ленинской и Государственной премий академик В. П. Глушко: «На мой взгляд, мы в большом долгу перед Юрием Васильевичем Кондратюком. Его вклад в космонавтику не нашел достойного отражения в печати...»

Эти слова ныне покойного виднейшего ученого в области современного отечественного ракетостроения особенно ценны.

Сейчас в ряде газет и журналов появились очерки о Ю. В. Кондратюке. Украинским республиканским обществом «Знание» выпущена небольшая, но весьма емкая книжка «Жизнь в творческом горении», принадле-

жащая перу А. В. Даценко, инженера-подполковника в отставке. Были попытки создания художественных произведений о великом космическом провидце, наиболее удачной из которых можно назвать рассказ Олеся Гончара «Гений в обмотках», в котором, однако, герой так и не назван по имени. Сняты три документальные киноленты, особенно впечатляет фильм «Что в имени тебе моем...» по сценарию В. И. Севастьянова. Его именем названы улицы и площади в Москве, Новосибирске, Киеве, Полтаве...

И тем не менее даже люди, живущие на улицах, носящих его имя, не знают, кто такой Кондратюк. Одни считают его вождем какого-то крестьянского восстания, другие путают с генералом, руководившим обороной Порт-Артура во время русско-японской войны, третьи — с оперным певцом. Глубокий вакуум, созданный вокруг имени Ю. В. Кондратюка, еще далеко не заполнен.

Документы, касающиеся его жизни и творчества, хранились вплоть до последнего времени в спецхранах архивов за семью печатями, биографические данные публиковались весьма скупой и то в основном в специальных изданиях. Какая-то завеса таинственности создавалась вокруг его имени. Оно попросту замалчивалось, а порой и умалялось: дескать, ничего особенного он не создал, лишь повторил то, что было открыто до него.

В свое время академик Б. В. Раушенбах, занимавшийся вопросами изучения наследия пионеров космонавтики и развитием основ теории космических полетов, выделил то новое, что предложил Ю. В. Кондратюк по сравнению с К. Э. Циолковским, Ф. А. Цандером и другими исследователями. Сюда относятся: охлаждение камеры сгорания и сопла жидкостного ракетного двигателя компонентами топлива; турбонасосная подача компонентов топлива и шахматное расположение горючего окислителя в камере сгорания для наилучшего, полного и одновременно безопасного смесеобразования; введение понятия «пропорциональный пассив», без которого немислим современный весовой анализ космических аппаратов; способ решения задачи оптимального устройства кресел космонавтов, позволяющих переносить большие перегрузки за счет подгонки их по фигуре космонавта; многостадийная экранно-вакуумная тепловая изоляция, нашедшая сегодня самое широкое применение в сочетании с теплозащитным щитом — аэродинамической поверхностью с ав-

томатическим управлением углом атаки («посадочный планер» Кондратюка); приземление с помощью парашютных систем и многое другое, что и было осуществлено в начале космической эры.

Но это лишь то, что касается конструкции ракет и космических кораблей. Однако новаторство Кондратюка проявляется буквально во всех разделах теории космических полетов.

Обратимся к другим источникам.

«...Ю. В. Кондратюком впервые (в 1918—1919 гг.) был предложен так называемый пертурбационный маневр — целенаправленное изменение траектории полета космического аппарата без затрат топлива за счет использования гравитационных полей Луны, планет при близком полете около них»\*.

«Ю. В. Кондратюк предлагает бороводороды в качестве горючего для двигателей\*\*», а еще ранее — металлов и металлоидов с высокой температурой сгорания (причем предлагалось использовать уже отработавшие в полете конструкции), ставит вопрос о создании ракетных двигателей на катодных лучах, порошках и тонко пульверизированных жидкостях (предложение об использовании опорожненных баков было сделано несколько ранее Ф. А. Цандером).

...Он рассмотрел возможность создания беспилотных систем ракетно-артиллерийского снабжения с Земли долговременных баз — искусственных спутников Земли и Луны\*\*\*.

Если обратиться к ранним работам Ю. В. Кондратюка, то можно убедиться, что многие весьма смелые, но в дальнейшем осуществленные его предложения сделаны им еще в юношеском возрасте, задолго до того, как появились в работах других ученых. Уже в гимназической его работе находим строки, которые звучат сейчас, как пророческое предвидение.

**«База полетов.** Базу лучше всего устроить на каком-нибудь (небесном) теле, возможно меньшем, на котором был бы материал для активного вещества (топлива), для выработки которого нужно там установить машины...

---

\* Энциклопедия «Космонавтика». М., 1985. С. 293.

\*\* Там же. С. 49.

\*\*\* Там же. С. 167.

Запасаясь на этой базе активным веществом, можно совершать несравненно более солидные полеты...»

В своих работах Ю. В. Кондратюк предлагал использование солнечной энергии, концентрированной с помощью больших и малых зеркал, разворачиваемых в космосе для нужд космического корабля или направления потока этой энергии к Земле. Идея эта до сих пор не осуществлена, хотя и заслуживает внимания, особенно сейчас, когда энергетический голод угрожает человечеству.

И вообще, как отмечал академик Раушенбах, в работах Кондратюка чувствуется стремление достигнуть результатов простейшими средствами, а следовательно, в кратчайшие сроки. Взять хотя бы проблему старта. В то время как К. Э. Циолковский ищет решение проблемы в создании трассы разгона ракеты по земной поверхности, Ф. А. Цандер — в комбинации ракеты и самолета, Кондратюк предлагает старт многоступенчатой ракеты прямо с поверхности Земли, что и осуществляется в настоящее время.

Ему принадлежит разработка трассы полета к Луне с посадкой на нее астронавта при помощи отделяемого от орбитального модуля спускаемого аппарата, что и было использовано американцами в 1969 году.

Но мы еще не коснулись новаторских предложений и достижений Ю. В. Кондратюка в области ветроэнергетики, в элеваторном деле, в строительстве! А сколько его предложений и открытий остались нерасшифрованными, сколько кануло в бумагах, сожженных и утраченных после его гибели!

Многие из них приобретают особую актуальность сейчас. Например, его проект мощной ветроэлектростанции в Крыму, так и не осуществленный. После Чернобыльской катастрофы, когда возникло серьезное противодействие строительству атомных электростанций, в частности, в густонаселенных районах, слышатся массовые протесты против строительства АЭС в Крыму, не пора ли вернуться к забытому проекту Кондратюка? Ветровые электростанции могут успешно работать и в других районах, заменяя, вместе с солнечными, и атомные и тепловые станции.

Но об этом как-то не вспоминается. Даже имя Кондратюка звучит до сих пор глухо, как бы из-под земли.

Так в чем же дело? — возникает вопрос.

Выскажу по этому поводу свои соображения, которые могут показаться кое-кому спорными. Но я буду рад, если будут приведены веские, опровергающие их доказательства. Ведь важна истина.

Прежде всего, вероятно, кому-то показалось, что исследования Кондратюка, не замеченные в свое время, могут затмить или хотя бы умалить авторитет наших признанных и действительно великих теоретиков и практиков космической науки — таких, как К. Э. Циолковский, С. П. Королев, Ф. А. Цандер. Но известно, как Константин Эдуардович ценил работу своего более молодого коллеги, как С. П. Королев приглашал его работать в ГИРДе, что также свидетельствует о высоком признании и уважении. И вообще при жизни между ними не падало ни малейшей тени соперничества, не возникало желания принизить роль друг друга. Каждый делал свое дело, учитывая при этом и достижения других.

Соперничество, по-моему, возникло позднее, в среде историков-«описателей» науки, которые считали самым важным лишь то, что сделано теми учеными, которым они посвятили свои монографии, диссертации, очерки.

Чтобы ярче выделить достоинства своего «героя», надо бросить тень на того, кто может стать ему соперником. Для этого все средства хороши. Можно пустить слух — пусть потом разбираются, верен он или нет. А поскольку достоверной, научно выверенной, биографии Кондратюка не существует, то можно ему приписать что угодно. Например, что он вовсе не погиб, а сдался немцам в плен, потом переехал в Америку и, приняв личину фон Брауна (было и такое дикое предположение!), помог американцам разработать проект полета на Луну, выдал им секреты, о которых не решился написать в своей книге «Завоевание межпланетных пространств». Но все, что было использовано авторами проекта «Аполлон» из трудов Кондратюка, было изложено им в книге, попавшей в библиотеку конгресса, а если и были у Юрия Васильевича какие секреты, то они похоронены вместе с ним.

Были ничем не подтвержденные домыслы о его якобы длительной и усердной службе в белой армии, упоминалось о том, что он был репрессирован, а о реабилитации — ни слова. Обращалось особое внимание на разно-

чтения в анкетах, заполненных в разное время Ю. В. Кондратюком: в одной из анкет написано, что он родился в 1900 году в городе Луцке, а на самом деле родился он в 1897 году в Полтаве. Но при этом не учитывались обстоятельства и обстановка, в которых заполнялись эти анкеты.

И самое «ужасное», что повергало в шок всех, кто был призван блюсти чистоту нашей печати: человек-то жил, оказывается, не под своим именем — выходит, обманывал Советскую власть!

Но все это отлетает, как шелуха, при ярком свете демократии и гласности. Науке надо вернуть имя Кондратюка — Шаргея, рассказать без прикрас, что же произошло с этим человеком, чтобы никто не мог усомниться в том, что он до конца жизни своей был не только великим ученым, но и верным сыном своей Родины.

\* \* \*

Теперь несколько слов о том, как писалась эта повесть. О Кондратюке я впервые услышал на Кубани. Сведения о нем были смутные и противоречивые. Говорили, что был такой первооткрыватель космоса, трудился некогда на Крыловском элеваторе, что там на общественные средства создан музей его имени и даже установлен бюст, но экскурсии туда не поощряются и не пропагандируются, ибо с Кондратюком «не все ясно». Поехал я туда, познакомился и с этим музеем, с его хранителем и создателем Валентином Николаевичем Иващенко, главным инженером элеватора, человеком, как мне сказали в станице, «кондратюковского типа» — самоотверженным, бескорыстным и горячим, нажившим за свою работу по пропаганде наследия Кондратюка, кроме звания заслуженного деятеля культуры России, немало синяков и шишек. От него я и узнал то, что ни в одном архиве мне бы не дали узнать. Потом я поехал в Полтаву и познакомился там с Анатолием Владимировичем Даценко, его двоюродным братом, и опять услышал от него вещи удивительные — о жизни многотрудной, прекрасной и честной. И вот тогда я решил, что об этом человеке надо писать все, ничего не умалчивая — ни заблуждений, ни ошибок, ни опрометчивых решений, которые стали причиной трагедии его жизни. Либо не писать ничего.

То, что мной написано, основано на беседах с людьми, лично знавшими Ю. В. Кондратюка, работавшими вместе с ним, по их частично опубликованным воспоминаниям. Поскольку я задумал не научно выверенную биографию и не теоретическую статью, а повесть, то, основываясь на доступных мне документах и воспоминаниях, допускал кое-где и элементы вымысла, не меняющие, однако, главного, о чем я хотел сказать, сути увлекшего меня образа.

Мне кажется, что Ю. В. Кондратюк — Шаргей был типичным представителем тех неистовых изобретателей-мечтателей, которые творили свое дело, не заботясь о собственном благополучии, думая только о Будущем, которое, как они верили, принесет счастье всему человечеству.

За одно это ему и всем другим провидцам, многие из которых остались неизвестными, стоит воздвигнуть памятник и назвать его **ПАМЯТНИК НЕИЗВЕСТНОМУ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ**.

А. Г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Шаргей . . . . .	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Черный сахар . . . . .	35
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Станный квартирант . . . . .	48
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. У синих гор . . . . .	70
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Наш милый фантаст . . . . .	89
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. Ловцы ветра . . . . .	111
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Скатертный переулок . . . . .	122
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. Обрыв . . . . .	128
ОТ АВТОРА . . . . .	144

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ ГАРКУША

СТРЕЛА ЛЕТЯЩАЯ

Редактор *Н. Боченкова*

Художник *Н. Старцев*

Художественный редактор *И. Лопатина*  
Технические редакторы *М. Гречнева, А. Ершова*  
Корректор *Т. Семочкина*

ИБ 5018

Сдано в набор 20.04.92. Подписано к печати 09.12.92. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,98. Усл. кр.-отт. 8,19. Уч.-изд. л. 7,72. Тираж 5000 экз. Заказ 1949. С-63.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий».

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8,  
170000, г. Тверь, Студенческий пер., 28. Областная типография.



**А.Т. ГАРКУША**

---

## **СТРЕЛА ЛЕТЯЩАЯ**

Художественно-  
документальная  
повесть о трудной,  
полной приключений  
жизни

Ю. Э. Кондратюка  
(Александр  
Игнатъевич Шаргей) —  
великого ученого и  
изобретателя,  
разработавшего  
стройную теорию  
освоения космоса.

